

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Кристина Кармалита
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

4/2021

Содержание

ПРОЗА

Сергей ТЕМИНСКИЙ. Спички. Рассказ.	3
Михаил СТЕКАЧЁВ. Железо — тоже неплохо. Рассказ.	51
Дмитрий НИКОЛОВ. Цветочный Дьявол. Рассказ.	65
Валентина ГОРАК. Северное сияние. Повесть.	76

ПОЭЗИЯ

Сергей САМОЙЛЕНКО. Железобетонная радуга. Стихи.	47
Екатерина МАЛОФЕЕВА. Навык бытия. Стихи.	62
Денис ПОПОВ. Евангелие от... Стихи.	71

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Прогулка по Ново-Николаевску. <i>Беседа с новосибирским антикваром и библиофилом</i> <i>Станиславом Савченко.</i>	128
---	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Михаил ХЛЕБНИКОВ. Союз и Довлатов. Главы из книги.	153
--	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Сергей ТЕМИНСКИЙ

СПИЧКИ

Р а с с к а з

Деревня Лосиха — место далекое и глухое. Туда, в предгорье Восточных Саян, где на сотни километров тайга да сопки, добраться можно только на вездеходе или внедорожнике. Особенно зимой. А если снегопад или, того хуже, метель поднимется, в Лосиху лучше вовсе не соваться. Застрянешь где-нибудь — неделю придется ждать, пока разгребут заносы.

Лосиха и раньше была небольшой, а теперь и вовсе осталось дворов шесть, и ни магазина, ни почты, ни телефона. Свет и тот подают с перебойми. Одним словом — глушь, хорошее место для любителей дикой природы, тишины и уединения. Правда, любители тишины и уединения ехали туда в основном с ружьями да карабинами.

Из-за отдаленности от больших населенных пунктов зверья в тех местах всегда хватало: и на кабана можно поохотиться, и на сохатого сходить, и козу подстрелить, не говоря уже о разной мелочи вроде зайцев или кабарги. А если повезет (или не повезет, это уж для кого как), то и медведя можно повстречать. Но тогда уже не оплошай, не то сам превратишься из охотника в добычу!

Виталий тоже ехал в Лосиху на охоту. Не то чтобы специально на лося или кабана, а так: побродить по тайге, подышать свежим воздухом... В общем — развеяться, отдохнуть от городской суеты. Конечно, если удастся, то и добыть что-нибудь. Да хоть глухаря или куропатку. Все не с пустыми руками возвращаться. К тому же ехал он туда один. На серьезную охоту нужно отправляться хотя бы вдвоем: сибирская тайга — она легкомыслия не прощает. В одиночку в тайгу может пойти только опытный охотник-профессионал. А если ты в этом деле новичок, лучше не суйся, не то сгинешь в таежной глуши — и поминай потом как звали.



Виталий не собирался забираться в самую глушь. Он планировал дойти лишь до Широкой пади, это километров семь от Лосихи, и поохотиться в тех местах денька два-три. Он раньше там бывал, и места те были ему немного знакомы.

Виталий — предприниматель. Хваткий, расчетливый, осторожный — вот качества, которые помогали ему успешно заниматься бизнесом. Буквально неделю назад он заключил крупную сделку, хорошо заработал, и вот — себе в подарок, как он сам выразился, — купил японский внедорожник «Ленд-крузер» и карабин «Сайга», хоть и не был таким уж заядлым охотником.

Стрелять с друзьями по пустым бутылкам на пикниках за городом надоело, захотелось чего-нибудь серьезного и настоящего. К тому же возникло желание хотя бы ненадолго уединиться и отдохнуть от всего.

В Лосиху Виталий прибыл под вечер, уже начало смеркаться. Подъехал к крайней избе, что стояла почти у самого леса, и загнал свой внедорожник в просторный, расчищенный от снега двор. Двор был пуст. Это означало, что, кроме Виталия, из приезжих здесь больше никого нет.

В избе жил дед Афанасий, бывший охотник-промысловик, а теперь пенсионер, как и все немногочисленные жители Лосихи, которых и осталось-то не больше десятка. Все, кто приезжал в Лосиху, — в основном охотники, — останавливались у Афанасия. Сам дед в тайгу уже давно не ходил: стар стал, но таежников принимал у себя охотно. Здесь, перед тем как отправиться на охоту или вернувшись с нее, можно было хорошенько отдохнуть, а то и вовсе пожить какое-то время. Места хватало. И сам хозяин гостям был всегда рад. Вот только провизию и выпивку требовалось привозить с собой — в Лосихе с этим уже давно было туго. Единственный магазин закрылся еще лет десять назад, и теперь за всем необходимым нужно было ехать в Вересовку, ближайший к Лосихе поселок, а до него почти сорок километров. А то и вовсе приходилось добираться до города, а туда еще столько же. Итого — восемьдесят километров по тайге, через сопки, преодолевая опасные подъемы и крутые спуски.

Два раза в месяц, если позволяла погода, из районного отдела соцобеспечения в Лосиху отправляли машину с товарами первой необходимости: хлебом, крупами, макаронами, консервами и разной хозяйственной мелочью. Иногда жителей Лосихи навещали родственники, живущие кто в городе, кто в других поселках и деревнях, не столь отдаленных и труднодоступных. В Лосихе остались те, кто ни в какую не хотел покидать эти места, все уже старики. Среди них и дед Афанасий.

Изба, в которой жил дед Афанасий, состояла из двух половин. К ней прилегал большой двор, огороженный невысоким забором и с распахнутыми настежь воротами, чтобы гостям, прибывающим сюда,

было удобно заезжать. А еще у деда Афанасия имелась баня, единственная в Лосихе, которая пользовалась большой популярностью как у местных жителей, для которых дед раз в неделю устраивал «банный день», так и у приезжих. В такой глуши, да еще зимой, когда температура нередко опускается до минус сорока и ниже, баня — ни с чем не сравнимое удовольствие! Как приятно, вернувшись с охоты усталым, промерзшим до последней косточки, оказаться затем в жаркой парной да пройтись по изнуренному долгой ходьбой телу горячим березовым веничком...

Хотя дед Афанасий принимал у себя гостей бескорыстно, можно сказать по доброте душевной, все, кто у него останавливался, старались отблагодарить старика: кто продуктов привезет, кто добытой дичью поделится, а кто и денег оставит. И конечно, все предлагали выпить. Дед это дело любил и отказом никого не огорчал.

Виталий забрал из машины два рюкзака: один большой — с одеждой, другой поменьше — с продуктами, миновал полутемные сени и, для приличия постучав, вошел в избу. Внутри было тихо и тепло. Топилась печь. Пахло дымком и подгорелой кашей.

— Здравствуйте, — поздоровался Виталий и, не дождавшись ответа, уже громче спросил: — Есть кто дома?

Скрипнули половицы, и из другой половины избы появилась девушка лет двадцати пяти с короткой стрижкой и слегка раскосыми глазами. На ней был теплый спортивный костюм, плотно облегающий стройную фигуру, на ногах — домашние тапочки на босу ногу.

«Симпатичная», — отметил про себя Виталий.

— Здравствуйте, — сказала девушка. — Я думала, это... — Она немного смутилась. — Да вы проходите, дед скоро вернется! К соседям, наверное, ушел.

Виталий оставил оба рюкзака у порога, разделся и, пройдя к скамейке у стола, сел.

— Меня Виталием зовут, — представился он. — А вас?

— Меня — Катериной. Я внучка Афанасия Митрофановича. Приехала навестить его. Вторую неделю тут живу. Надоело. Ни телевизора, ни радио, телефон и тот не ловит... А вы надолго в Лосиху? — спросила она после небольшой паузы.

— Как понравится, — пожал плечами Виталий. — А вообще, планировал пробыть тут два-три дня.

— На охоту приехали?

— На охоту... Ну и отдохнуть от благ цивилизации.

— Это у вас получится, — улыбнулась Катерина. — Чаю хотите?

— Хочу, — охотно согласился Виталий.

В сенях скрипнула дверь, и в избу вошел сам хозяин — дед Афанасий, небольшого роста старичок лет семидесяти пяти с узким разрезом глаз и гладким безбородым лицом.

Увидев Виталия, дед искренне обрадовался:

— О, у нас гости! А я смотрю — машина во дворе! Ну проходите, проходите... — засуетился старик, хотя гость уже не только прошел, но и сидел за столом.

Виталий поднялся и поздоровался с хозяином за руку. Он приезжал сюда в прошлом году. На всякий случай, если дед забыл, напомнил:

— Меня Виталием зовут.

— А я Афанасий Митрофанович, — представился дед, снимая шапку и тулуп. — Первый раз у нас?

— Бывал уже. Прошлой зимой.

— То-то я смотрю, лицо вроде знакомое.

Дед прищурился, пытаясь получше разглядеть гостя. Затем перевел взгляд на рюкзаки.

— Надолго к нам?

— Как понравится.

— Понравится, — кивнул дед, садясь на диван. — У нас тут воздух чистый и охота отменная.

Похоже, в Лосиху давненько никто не приезжал и дед Афанасий заскучал по новым людям. Обрадованный, что наконец кто-то прибыл и наверняка не с пустыми руками, он старался всячески угодить гостю.

— Может, баньку истопить — с дороги попариться? — предложил он, щуря и без того узкие глаза.

Виталий пожал плечами и направился к рюкзакам.

— Катерина, иди растопи! — распорядился Афанасий. — И воды в котел натаскай. Да побольше! Может, и я заодно попарюсь. Спину что-то второй день ломит.

Катерина сунула ноги в валенки, накинула полушубок и шаль и отправилась заниматься баней.

Виталий поставил на скамью рюкзак (тот, что поменьше) и принялся извлекать из него содержимое.

Скоро на столе оказались две банки тушенки, банка маринованных огурчиков, копченый лосось, паштет из гусяной печени, грамм двести пармезана, палка сервелата и хороший шмат соленого сала. За ними последовали буханка ржаного хлеба и стограммовая банка осетровой икры. В завершении на стол была выставлена бутылка водки.

Старик наблюдал за каждым продуктом, который появлялся из рюкзака и оказывался затем на столе, сосредоточенно и внимательно. Но как только, радуя глаз своим кристально-прозрачным содержимым, появилась бутылка и царственно заняла свое место среди банок, свертков и пакетов, на лице деда непроизвольно образовалась улыбка, которую он и не пытался скрывать.

— Охота — это хорошо, охота — это здорово! — сказал он и, шаркая подшитыми подошвами валенок, направился к стенному шкафику за рюмками.

Виталий нарезал колбасу, сыр, сало, лосося, хлеб; открыл тушенку, огурчики. Икру он аккуратно выложил из банки на блюде. После этого взялся за водку. Не спеша, почти церемониально отвинтил колпачок и под восхищенным взглядом деда Афанасия наполнил до краев две стограммовые рюмки.

Едва собрались выпить, вернулась Катерина.

— Присаживайтесь с нами, — предложил ей Виталий на правах угощающего.

Девушка застенчиво улыбнулась:

— Спасибо, я не пью.

— Просто посидите, поужинайте за компанию.

— Садись, внучка, — поддержал Виталия дед. — Стопочку можно выпить. Такому-то гостю грех отказывать.

Румяная от мороза, с белыми от инея ресницами, похожая на Снегурочку, Катерина скинула полушубок, вылезла из валенок и, потирая озябшие ладони, присела у края стола.

— Может, все-таки чуть-чуть налить? — снова предложил Виталий, взявшись за бутылку. — Для согрева?

Катерина неуверенно пожала плечами:

— Ну, если только полрюмочки...

Виталий налил ей полную и после короткого: «За вас, хозяйева!» — ловко опрокинул свою рюмку в рот. Следом выпил дед. Тоже до дна, но не с такой лихостью. Стали закусывать, не спеша и с аппетитом: Виталий — хлебом и салом, дед захрустел огурцом.

Катерина долго не решалась, затем сделала глоток — и, выкатив глаза, начала хватать ртом воздух. Отдышавшись и утерев выступившие слезы, робко потянулась за ломтиком колбасы.

— Закусывай, закусывай! — подбодрил ее дед. — А то опьянешь натошак да без привычки.

Когда выпили по второй, начался разговор. Сначала говорили про тайгу и охоту, про повадки зверей. Дед рассказал пару интересных случаев, связанных с охотниками. Когда заговорили о личном: кто откуда и чем занимается, выяснилось, что Катерина тоже из Иркутска и ей на самом деле уже тридцать два. Не замужем. И не была. Да уже особо и не надеется.

— За кого выходить? Все нормальные давно женаты, а кто свободен — либо пьяницы, либо приспособленцы. А то и вовсе нетрадиционной ориентации, — пояснила она.

— Позвольте не согласиться, — возразил Виталий, подняв указательный палец вверх. — Вот я, можно сказать, непьющий, не приспособленец и тем более не голубой. А до сих пор не женат.

— Достойной невесты не нашлось? — улыбнулась Катерина.

— Невест-то полно, — не обращая внимания на ее иронию, заверил Виталий. — Только свистну — очередь образуется... Ко мне кто только не сватался! Все как на подбор умницы, красавицы, с высшим образованием. А то и с двумя! Иностранка даже одна жениться на ней звала. Из Австрии с какой-то делегацией к нам приезжала. Предлагала мне уехать с ней. В Вене у нее квартира, загородный дом и все такое. Фотографии показывала — красота!

Катерина смешливо вздернула брови:

— А вы что же?

— Отказался.

— Что так? Сейчас бы в Вене жили, отдыхали бы в Альпах, а не в этой глуши, где даже телевизора нет и телефон не ловит. — В голосе Катерины звучали шуточные нотки.

— Это не для меня, — все с той же серьезностью отвечал Виталий. — Да и жениться пока не хочу. Рановато. Семья, дети — пока не до этого. Бизнес нужно раскручивать, а там посмотрю.

— А я хочу замуж, — вздохнула Катерина. — Хоть за иностранца, хоть за нашего. Даже за самого простого. Лишь бы непьющим был и не придурком. И чтобы меня любил. Семью хочу, детей.

— С простым мужем и с голоду помереть можно, — поучительно заметил Виталий. — Замуж выходить нужно за того, кто чего-то добился. Или за перспективного!

— За такого, как вы? — снова улыбнулась Катерина, уже немного захмелев.

— И не надо смеяться! — обиделся Виталий. — Не хочу хвалиться, но я в свои тридцать кое-чего добился. Две квартиры в Иркутске: одна в центре, двухуровневая — триста квадратов; вторая в новостройке — двухкомнатная, с видом на залив. Дача — сто квадратов — с участком в двадцать соток. Две машины: «камри» и вон, — Виталий кивнул в сторону двери, — у крыльца стоит, «крузак». Специально для охоты взял.

— Ух ты! — восхищенно произнес дед, любовно разливая по рюмкам водку. — За это надо выпить.

Выпили.

— Когда женюсь, — продолжал Виталий, — семья ни в чем нуждаться не будет. Детей в лучший детсад отдам. Потом в школу с каким-нибудь уклоном. С английским или французским. Или за границу отправлю учиться. В Лондон, к примеру.

— Так уж и в Лондон? — то ли всерьез, то ли в шутку удивилась Катерина.

— Да, в Лондон! — подтвердил Виталий. — Когда есть деньги, и в Америку можно отправить. В какой-нибудь Гарвард или Оксфорд.

Я и сейчас не беден, но смогу еще подняться. Я умею зарабатывать. У меня к этому талант.

Он поднял рюмку и, никого не дожидаясь, выпил.

— С деньгами можно многое себе позволить, — согласилась Катерина, тоже глотнув немного водки и закусив сыром. — А тут живешь, все на что-то надеешься, чего-то ждешь, а жизнь проходит. Да что об этом говорить... — Она взяла рюмку и допила.

— Мало получаешь? — поинтересовался Виталий, переходя на «ты». — Где работаешь, если не секрет?

— Да какой секрет — продавцом в магазине. Бытовую технику продаю. Разве там много зарабатываешь? Вообще-то, я бухгалтер. Шесть лет отработала на радиозаводе. Замом главбуха была. Потом предприятие закрыли, всех сократили... Вот и пошла торговать.

— Иди ко мне работать. Мне хороший бухгалтер нужен.

Катерина пожала плечами и засмеялась:

— Смотря сколько платить станете.

— Не обижу.

— А ведь она тоже бизнесом занималась, — похвастался дед, кивнув на Катерину. — Свой магазин держала!

— Да какой магазин, — усмехнулась Катерина. — Так, небольшой отделчик арендовала. Шубами торговала да всякой мелочью из Китая.

— И как дела шли? — поинтересовался Виталий, дожевывая кусок лосося.

— Да-а... — Катерина разочарованно махнула рукой. — Сначала мало-помалу шли, потом кризис, доллар подскочил — и все, конец. Обанкротилась. Да еще и в долги влезла. До сих пор отдаю... Даже не хочется вспоминать. В общем, коммерция — это не мое. Мое дело — чужие деньги считать.

— Да, бизнес — это не для всех, — со знанием дела заявил Виталий. — Тут требуются определенные качества, особый склад ума, умение просчитывать ситуацию. И еще нужно хорошо разбираться в людях. Вот я — мне достаточно пообщаться с кем-то полчаса, и все понятно: кто он, чего стоит, можно ли с ним иметь дело. И конечно, нужна удача! Без нее никак. Можно все продумать, просчитать, предусмотреть каждую мелочь, но если удача отвернулась — считай, все пропало! А я удачлив. Сколько раз находился, что называется, на краю, думал, все, конец, но каким-то чудом проносило. Друзья называют меня везунчиком.

После того как выпили за удачу, Виталий стал рассказывать о том, как он много работает, устает и нервы его от этого бывают на пределе.

— Кто-то на море едет, кто-то водкой спасается, а мне для отдыха покой нужен и уединение. Вот я и прибыл сюда отдохнуть. Схожу в

тайгу, поживу там пару деньков, подышу свежим воздухом — и снова за работу!

Обычно Виталий не отличался общительностью, скорее был замкнутым и малоразговорчивым, и только когда выпивал, что случалось не часто, ему хотелось выговориться. Врать не врал, но любил похвастаться, произвести впечатление, особенно на девушек. Чаще всего ему это удавалось. Вот и сейчас он видел, что Катерина, сначала ироничная, теперь стала серьезнее, слушала его с интересом и уже не отводила глаза, если их взгляды встречались. Старик к этому времени всю клевал носом и только едва слышно бормотал:

— Охота — это хорошо... Охота — это здорово...

— Елки-палки! — спохватилась Катерина. — Совсем забыла: в бане печь, наверное, погасла!

Она быстро оделась и выбежала на улицу.

Следом вышел Виталий. Он помог Катерине с дровами, натаскал из речки воды — на «холодную» (на «горячую» уже грелась в котле), принес из сарая два березовых веника и положил в тазик.

Когда оба вернулись в дом, дед Афанасий уже спал, свернувшись клубочком на диване и накрывшись овечьим полушубком. Бутылка на столе была пуста. Виталий убрал ее и достал из рюкзака другую.

— Может, не стоит? — засомневалась Катерина. — Тебе же еще в баню идти. Да и мне достаточно. Что-то я разошлась сегодня. Боюсь, не к добру.

— А мы после бани выпьем, — хитро улыбнулся Виталий. — После баньки грех не выпить.

— Ну, это тебе. А мне-то с чего пить?

— Ты разве в баню не идешь? — Виталий вопросительно посмотрел на Катерину.

— Вместе? — хихикнула она.

— А почему нет? Мы же взрослые люди.

Катерина смущенно отвернулась, не зная, что ответить. Затем кинулась к плите:

— Чайник вскипел! Сейчас чаю свежего заварим!

Чрезмерно суетясь, она достала с полки белый фарфоровый заварник, насыпала в него из жестяной банки чай и залила бурлящим кипятком.

Виталий наблюдал за ее действиями с легкой улыбкой победителя. Он знал, Катерину он покорил. Сегодня она будет его.

Когда чай настоялся и даже был разлит по чашкам, в окне, что выходило во двор, промелькнул свет автомобильных фар.

— Кого-то принесло, — недовольно пробурчал Виталий.

Катерина, кажется, этому не удивилась. Она оделась и вышла во двор.

Вернулась, как и следовало ожидать, не одна. Вместе с ней в избу вошел бородатый мужчина лет тридцати пяти. На нем был старый армейский полушубок и лохматая лисья шапка. В одной руке бородач держал тощий потертый мешок, в другой — двустволку.

Поставив ружье в угол и там же небрежно бросив мешок, гость не спеша разделся и в сопровождении Катерины прошел к столу.

Девушка представила молодых людей друг другу:

— Виталий. Иван.

Мужчины холодно пожали друг другу руки, после чего Ивану было предложено сесть к столу и присоединиться к ужину.

— Не откажусь, — согласился он и, вымыв под умывальником руки, как-то привычно уселся рядом с Катериной.

Без щубы и шапки он оказался маленьким и щуплым, густая рыжая борода совсем не гармонировала с его далеко не брутальной внешностью. Он напоминал дьячка из какой-нибудь деревенской церкви. И голос у него был тихий, даже слабый, как у больного.

— А дед где? — спросил Иван, обращаясь к Катерине.

Та кивнула на диван:

— Готов уже. Совсем слабым стал.

Дед Афанасий будто услышал, что говорят о нем, дрыгнул ногой, что-то невнятное пробормотал и тут же почти по-детски засопел.

— Может, водочки с дороги? — предложил Виталий новому гостю, указывая на нераспечатанную бутылку на столе.

— Нет, не надо, — категоричнее, чем следовало бы, отказался Иван. — Мне вставать рано. В тайгу нужно сходить, капканы проверить — и к вечеру уже назад вернуться.

— Как знаешь, — немного обиженно сказал Виталий.

Иван потянулся к сыру и чуть погодя спросил:

— Твой внедорожник там, у крыльца, стоит?

Виталий усмехнулся, кивнув на деда:

— Нет, вон его.

— Без номеров еще, — с нескрываемым восхищением произнес Иван, не обращая внимания на сарказм собеседника.

Виталий не удержался:

— Неделю как из салона.

— Красавец! Я бы на таком даже ездить не стал, только бы любовался.

— Да, хороша машина, — согласился Виталий и, чтобы продолжить автомобильную тему, спросил: — А ты на чем сюда прибыл?

— Я-то? Я на... — начал Иван.

Но Виталий прервал его:

— Погоди-погоди, дай угадаю... Наверное, на узике?

— На узике, — подтвердил Иван. — В окно увидал?



— Да тут и смотреть нечего. — Виталий ухмыльнулся и покосился на Катерину. — И так все понятно. На «москвиче» или «жигулях» сюда не добраться. Остается уазик. — Он нарочито внимательно оглядел Ивана. — На чем же еще?

Иван улыбнулся и пожал плечами:

— Ну да, сюда только на УАЗе и можно добраться. А ты на охоту или так?

— На охоту, — не сразу ответил Виталий.

Появление Ивана расстроило его, и он с трудом скрывал растущее раздражение. Иван, то ли не замечая этого, то ли не желая замечать, пробежался глазами по столу.

— Жаль, картошечки нет, — сказал он, смачно хрустнув огурцом.

— Каша есть гречневая. Будешь? — предложила Катерина.

— Нет, кашу не хочу. Так, перекушу чем-нибудь.

— Чем-нибудь? — Виталий удивленно усмехнулся. — Все это, — он кивнул на стол, — уже за еду не считаешь?

— Почему не считаю? Считаю, — вытерев ладонью рот, ответил Иван. — К огурчикам картошечка была бы хороша. Ну нет так нет. Я не привередлив.

— Оно и видно. — Виталий покачал головой, зачерпнул ложкой икру из блюда и, пока не отправил ее в рот, сказал, как бы рассуждая вслух: — Вот народ! Чем его ни корми, а все картошку подавай.

— Почему обязательно картошку? — спокойно отреагировал Иван. — Я все ем. Лишь бы вкусно было.

— И что для тебя вкусно? — медленно прожевывая икру, спросил Виталий. — Кроме картошки, разумеется.

Иван немного растерянно пожал плечами:

— Ну, не знаю. Много что... Ты ведь тоже, наверное, не одну икру ешь.

— Конечно, не одну, — с удовольствием подхватил Виталий. — Семга, форель, филейная вырезка, омары, акульи хрящики... Тебе весь список огласить? Хотя ты, наверное, и названий многих не слышал.

— Почему не слышал? Слышал. Даже ел кое-что.

— Что, например?

— Семгу ел. Омаров тех же. Да много чего.

— И как тебе омары?

— Признаться, не распробовал.

— То-то и оно — их не пробовать надо, а есть! — довольным тоном произнес Виталий.

— У каждого свои предпочтения, — сказал Иван. — Один любит картошку, другой — морошку. О вкусах, как говорится, не спорят.

— О вкусах не спорят, — согласился Виталий. — По вкусам судят. Хороший вкус может развиваться только благодаря достатку. Дело не в

том, что ты ешь, а в том, что ты можешь себе позволить есть. Достаток, в свою очередь, находится в прямой зависимости от интеллекта. Не хочу тебя обидеть, но человек, для которого любимое блюдо — картошка, чаще всего небольшого ума. Он ничего больше не может себе позволить. А почему? В силу своих способностей.

— Хочешь сказать, я дурак? — без злобы и обиды спросил Иван. — Достаток еще не признак ума. Иногда достаток приобретаете благодаря жадности и непомерному желанию наживы. Могу привести массу примеров, когда в общем-то неплохие люди в своем стремлении разбогатеть превращались в мелочных, коварных, а порой и жестоких. В них проявлялся не ум, не талант, а хищнический животный нрав!

— А люди и есть животные. Только одни травоядные, другие хищники. Какая может быть справедливость среди животных? Кто сильнее и умнее, тот и имеет все лучшее. Другим достаются остатки. А слабаки довольствуются объедками от первых двух. Естественный отбор: либо ты, либо тебя. Так что мало быть умным, нужны еще и крепкие зубы, чтобы добычу не вырвали. И тогда будет тебе и хорошая машина, и икра с омарами. И лучшие женщины! — Виталий взглянул на Катерину и подмигнул ей: — Верно, Катя?

— Не знаю, — смутилась Катерина. — Я в этом не разбираюсь.

— А что тут разбираться, — немного раздраженно бросил Иван. — Мне лично плевать на омаров, и на икру, и... И вообще, давайте сменим тему. Везде, о чем бы ни говорили, все сводится к деньгам.

— Потому что деньги интересуют всех! — довольный собой, сказал Виталий. — Всех, всегда и везде — только деньги!

Иван не ответил. Он демонстративно повернулся к Катерине:

— Не слыхала, говорят, циклон надвигается? Снежную бурю через два дня обещают.

— Ну вот, опять дорогу заметет! — вздохнула Катерина. — Застряну тут еще неизвестно на сколько.

Она поднялась из-за стола и стала собираться на улицу. Пора было проверить печь в бане.

— Завтра, как вернусь из тайги, уедем, — сказал Иван, тайком косясь на Виталия.

— Завтра и видно будет, — ответила Катерина. — Почему сегодня только приехал? Мы с дедом тебя вчера ждали.

Иван нахмурился:

— Вчера не получилось. Машина сломалась. Только починил — и сразу сюда.

Он немного помолчал и продолжил:

— Даже неудобно получилось — с пустыми руками явился. В этой суматохе ничего не успел захватить. Думал мешок муки или крупы какой-нибудь привезти.

— Ничего, мы тут не бедствуем и с голоду не умираем. Вон, — Катерина кивнула на стол, — даже черную икру едим.

— Вижу, неплохо живете, — сказал Иван, почесав в затылке. — Может, и меня выручите? Утром в тайгу идти, а с собой взять нечего.

Катерина глазами показала на Виталия:

— Это к нему. Он тут главный по продуктам.

Иван виновато перевел взгляд на Виталия:

— Выручишь?

Виталий вскинул брови, хотел что-то сказать, но промолчал. Он подождал, пока Катерина оденется и выйдет из избы, и только потом начал говорить.

— Я, прежде чем сюда приехать, купил этот внедорожник, — Виталий кивнул в сторону двора. — Пятьдесят тысяч за него отдал! Зеленых, естественно. Карабин новый приобрел. Тоже недешевый. Охотничью экипировку — импортную. О продуктах не говорю, сам видишь. А ты банку тушенки за пятьдесят рублей купить не смог. Как же ты на охоту собирался?

Иван виновато поджал губы.

— Понимаю, что облажался. По правде сказать, надеялся, что по дороге сюда в Вересовке все куплю. А там сегодня магазин рано закрылся. Не рассчитал малость. С кем не бывает...

— Со мной не бывает, — Виталий вальяжно развалился на скамье, закинув ногу на ногу. — К любому делу я основательно готовлюсь. Стараюсь все предусмотреть.

— Я тоже готовлюсь... Да мне немного надо: банку каких-нибудь консервов и полбулки хлеба. Могу заплатить, деньги есть.

— «Деньги есть». — Виталий криво ухмыльнулся. — Что толку с твоих денег? Есть их теперь будешь? Зато о справедливости толкуешь, о морали и принципах. Когда жрать нечего, принципы продаются за булку хлеба.

Иван развел руками:

— Ну нет так нет. С голоду, надеюсь, не помру за день.

Виталий не спеша поднялся и направился к своим рюкзакам.

— Ладно, выручу. Как охотник охотника.

— Другое дело! — оживился Иван. — Охотник охотника всегда должен выручать. Таков таежный закон! А то заладил: «Все люди хищники! Человек человеку волк!» Может, где-то и так, но в тайге в одиночку не выжить. Сегодня ты мне помог, завтра я тебе.

— Интересно, чем же ты мне сможешь помочь? — спросил Виталий, открывая рюкзак с продуктами. — Деньгами или связями? У тебя, наверное, папа — губернатор области?

— Ну, мало ли. Как говорится, жизнь длинная, а Земля круглая.

— Земля-то круглая, да дорожек на ней много. Наши вряд ли уже пересекутся.

Виталий выложил из рюкзака банку тушенки, кусок сала и буханку ржаного хлеба. К этому набору придвинул бутылку водки, которая стояла на столе нераспечатанной.

— Вдруг замерзать станешь — согреешься, — прокомментировал он. Затем с сарказмом добавил: — А вот картошки, извини, нет.

— Да ладно, переживу, — улыбнулся Иван и неуверенно полез в карман. — Я тебе что-то должен?

— Три тысячи, — невозмутимо произнес Виталий.

— Три тысячи? — Улыбка медленно сошла с лица Ивана. — Ладно. Три так три.

Он достал из кармана деньги, отсчитал три тысячи и положил на стол.

— Хотя тут всего-то рублей на шестьсот, не больше.

— На пятьсот, — так же спокойно сказал Виталий. — Но здесь тебе не супермаркет и даже не райпо. Здесь тайга, и потому цены другие. Хочешь — бери, не хочешь — не бери.

— Понимаю, что тайга... — Иван хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и стал закуривать.

Истратив несколько спичек, он опять обратился к Виталию:

— Спичек не найдется? Мои отсырели.

Виталий достал из кармана коробок и бросил Ивану. Иван ловко одной рукой поймал его, подкурил и хотел было вернуть, но передумал.

— Не одолжишь коробок?

— Да хоть два.

— Давай два. Лишними не будут.

Виталий пошарил по карманам, достал еще коробок и положил рядом с продуктами.

— Патроны-то хоть взял, охотник?

Иван забрал спички и положил их в карман.

— Патроны взял. Спасибо.

— Да не за что. С тебя еще две сотни.

— За что? — вырвалось у Ивана.

— За спички, разумеется.

— Это что, по сотне за коробок? — удивился Иван.

— А ты как хотел? Привыкли всё на халяву. Совдепия давно закончилась. Пора отвыкнуть.

Иван насупился, достал двести рублей и положил к лежавшим на столе трем тысячам.

Виталий тщательно вытер руки о полотенце, пересчитал все деньги и, аккуратно сложив, купюра к купюре, убрал в бумажник.

— Без обид?

Иван пожал плечами:

— Да какие обиды.

— Вот и хорошо. Рад, что смог тебе помочь.

— Да уж, — усмехнулся Иван. — Странно у тебя получается помогать. Умеешь ты воспользоваться трудностями других.

— А чьи-то трудности — это тоже способ заработать, — уверенно заявил Виталий. — Уметь воспользоваться моментом — это тоже талант. Случился где-то пожар или наводнение — вези туда стройматериалы; неурожай — продовольствие; война — оружие! Это называется «благоприятная ситуация для бизнеса». На этом зарабатываются большие деньги.

— То-то я смотрю, ты сейчас заработал большие деньги, — усмехнулся Иван. — Особенно на спичках.

— Сколько смог, столько заработал. — Виталий по-прежнему был невозмутим. — И потом, ты думаешь, я обрадовался твоим копейкам? Да мне этой мелочи на один обед в ресторане не хватит. Ты неправильно рассуждаешь. С твоими представлениями о жизни еще долго будешь есть одну картошку и ездить на уазике.

— Советуешь начать спичками торговать?

— Если умело подойти к этому делу, то и на спичках можно зарабатывать. Почему нет? — Виталий с хрустом в спине потянулся, раскинув в сторону большие сильные руки. — Главное, поменьше сантиментов и побольше цинизма. И никакой жалости и чувств. Люби только деньги. Они ревнивы — любят, чтобы их любили. Их одних. Не будешь любить — уйдут к другим. Они как женщины, только женщину обмануть легко, а деньги не обманешь.

— И зачем мне все это?

— Пригодится. Можешь считать это бесплатным уроком от меня. Как бонус к покупке. Еще благодарить станешь!

— Ну, я могу понять, когда речь идет о больших деньгах. Но позориться из-за такой мелочи... Да я со стыда сгорю, если кому-то продам коробок спичек за сто рублей!

— Считаешь, мне должно быть стыдно? — искренне удивился Виталий. — А чего стыдиться? Я не ворую, никого не обманываю, не стою на паперти. Я покупаю и продаю. Хочешь — бери, хочешь — нет. Все честно. Да, я не гнушаюсь мелочью, потому что знаю: сегодня упустишь копейку — завтра потеряешь миллион. Я предприниматель. Я привык зарабатывать везде и на всем. Хоть сто рублей, да возьму. Это мой принцип.

Иван открыл рот, чтобы что-то возразить, но с улицы вернулась Катерина. Он вышел из-за стола и направился к своим вещам.

— А ты чего соскочил? — спросила Катерина. — Не поздно же еще, посидел бы с нами.

— Насиделся уже, — буркнул Иван.

— А чего такой невеселый стал?

— Да-а, — махнул рукой Иван. — Устал. Спать пойду. Куда мне лечь?

Катерина на мгновение задумалась.

— Ляжешь в той половине, на кровать деда? Там тепло и тихо, никто мешать не будет.

Иван замялся, робко поглядывая на Катерину, словно хотел что-то сказать или спросить.

— А я еще посижу немного, — сказала она, догадываясь, в чем дело. — Спать совсем не хочется. — Затем, будто спохватившись, добавила: — Да мне еще и баню топить надо.

Иван бросил в мешок купленные у Виталия продукты, забрал двустоволку и отправился в другую половину избы, куда его определила Катерина. Он снял валенки и, не раздеваясь, лег на старую железную кровать, застеленную грубым холщовым покрывалом. Закурил. Из кухни доносились неразборчивые голоса. Иногда слышался приглушенный смех. В какой-то момент Ивану показалось, что говорят о нем. Он прислушался, но слов было не разобрать. Иван затушил сигарету, поднялся, надел валенки и осторожно, стараясь не скрипеть половицами, прокрался к кухонному проему, завешенному старым байковым одеялом.

— Пусть один едет, — донесся негромкий голос Виталия. — А ты через три дня со мной уедешь.

Было слышно, как Катерина вздохнула.

— Зачем? — Ее голос звучал тихо, но достаточно разборчиво.

— Что значит «зачем»? — спросил Виталий.

— Зачем тебе?

— Понравилась ты мне.

— Так уж и понравилась? — кокетливо засмеялась Катерина. —

Ты же меня не знаешь.

— Вот и хочу узнать...

— Как узнавать будешь, если в тайгу уходишь?

— Хочешь, останусь?

— Иди, раз уж приехал.

Катерина помолчала, затем сказала с легким сожалением:

— Он ведь за мной приехал. Охота — это так, предлог.

— Ничего. Как приехал, так и уедет. Скажешь, передумала: дед нехорошо себя чувствует.

Звякнула посуда, послышалось бульканье, затем снова полупьянный голос Виталия:

— Что он может тебе дать?

— Не знаю. Может, любовь.

Виталий засмеялся.

— Веришь в любовь?

— Меня что, полюбить нельзя?

— Дело не в этом. Он тебе не пара. Ты вся утонченная. Бухгалтером работала. А он...

— Тебе-то откуда его знать! Знаком с ним два часа...

— А мне и десяти минут достаточно. Я в людях разбираюсь.

Оба помолчали. Затем снова Виталий:

— Хочешь, проверим, как он тебя любит?

— И как проверить собрался? Спросишь у него?

— Зачем спрашивать. Есть другие способы.

— Это какие?

— Деньги, например. Предложу ему определенную сумму, чтобы он оставил тебя в покое. Вот и посмотрим. Уверен, он согласится.

— Плохо же ты о людях думаешь!

— Я думаю о людях ни плохо, ни хорошо, а как есть. Дождемся утра, сама убедишься.

— Сколько предлагать собрался? Надеюсь, не гроши? — В голосе Катерины снова послышались ироничные нотки.

— Ну сколько... Тысяч десять, думаю, будет достаточно!

— Долларов или евро?

— Какие доллары? Рублей, конечно.

— По-твоему, я так мало стою?

— Не ты — он. Если по-честному, ему цена — мешок картошки.

Катерина негромко засмеялась:

— Далась тебе эта картошка... А если не согласится?

— Предложу двадцать.

— А если и за двадцать не согласится?

— Тогда сто. За сто согласится. Таких денег он сроду не видел.

И не увидит, насколько я его понял.

— А если он от любых денег откажется? Он ведь немного странный. Такие ведут себя непредсказуемо. Мне что, придется уехать с ним? Тогда окажется, он прав, а ты — нет, со своей теорией всемогущества денег.

— У каждого человека есть слабые стороны. Откажется от денег, я ему «крузак» предложу. Вот тут у него крышу снесет! Слышала, как он им восторгался? За такой автомобиль он мать родную продаст, не то что тебя.

— Ты готов отдать ему за меня свой автомобиль? — удивленно спросила Катерина.

— Конечно, нет! Это лишь проверка на вшивость. Посмотрим, насколько ты ему дорога. А то развел демагогию: «Бескорыстие, справедливость! Деньги — зло...» Так обычно рассуждают те, у кого ничего нет. А как что-то появляется, замаячит надежда, тут же меняют взгляды. Продаются за тридцать сребреников.

— А по-настоящему отдал бы за меня свою машину? Без всяких проверок на вшивость. Только честно!

Виталий выдержал паузу.

— Конечно, отдал бы!

Катерина громко рассмеялась:

— Врешь ты все. Знаю я вас, богатеньких: за копейку удавитесь. А тут машину отдал бы! Миллион, наверное, стоит?

— Три!

— Тем более. Три миллиона!

— Хочешь сказать, я жадюга и трепач? — воскликнул Виталий.
— Ты это хочешь сказать?

— Откуда мне знать, что у тебя на уме. Я ведь не знаю тебя. Может, и машина не твоя, взял покатайся. Или копил на нее десять лет, и тебе ее на самом деле жалко. Я всяких повидала. Наобещают, распустят хвосты, а у самих телефоны и те в кредит взяты.

Вероятно, эти слова окончательно разозлили Виталия.

— Думаешь, я тут пальцы перед тобой гну веером, понтуюсь? Пыль в глаза пускаю, а у самого зад голый? На чужой машине приехал? Да у меня часы — на, смотри — стоят дороже всей вашей деревни!

Послышалось шуршание одежды, затем снова возбужденный голос Виталия:

— Вот на этой карте три миллиона. Поверь на слово. Это для нищобродов вроде Иванушки три миллиона — состояние, а для меня — карманные деньги! Завтра же могу купить еще такой же «кру-зак».

— Красивая. У меня другая.

Виталий немного успокоился, голос стал мягче.

— Это необычная карта — корпоративная. Такие мало у кого имеются.

— Чем же она отличается от обычных?

— У нее особая защита. В день без комиссии можно снять до пяти сот тысяч.

— Зачем же ты ее с собой носишь? Ладно бы в городе, а здесь, в тайге, к чему она тебе? Тут и банкоматов-то нет, да и купить нечего.

— Когда у тебя в кармане три миллиона, как-то комфортнее себя чувствуешь. Это дает уверенность. Если хочешь, чувство превосходства над другими.

— Три миллиона! Мне лет шесть нужно за такую сумму вкалывать. При этом не есть, не пить... Тебе на самом деле нужен бухгалтер?

Виталий усмехнулся:

— Что я — врать буду?

Возникла пауза, после чего снова послышался голос Катерины:

— Наверное, баня уже готова.

Виталий что-то сказал, но неразборчиво. Катерина засмеялась. Затем кто-то заходил по кухне. Судя по шагам, Виталий. Чтобы не оказаться застигнутым врасплох, Иван тихо удалился в другую половину дома и замер.

Хлопнула входная дверь. Стало тихо.

«Ушел в баню», — догадался Иван и, немного подождав, вернулся к дверному проему. Не отодвигая одеяла, позвал:

— Катя!

Ответа не последовало.

— Катерина! — снова позвал он, уже громче.

Снова никто не отозвался. Иван отодвинул край одеяла, заглянул в кухню: на диване спал дед Афанасий, больше никого не было.

Иван вернулся к своей кровати, лег и долго не мог уснуть, глядя в темную и чужую пустоту.

* * *

Виталий проснулся, когда уже рассвело. Он поднялся с кровати, не торопясь оделся и прошел на кухню. Здесь уже жарко топилась печь, возле нее хлопотала Катерина.

Расправив плечи, Виталий поздоровался:

— Доброе утро.

Катерина молча кивнула.

— Чуть свет, а ты уже на ногах. Давно встала?

Не дождавшись ответа, Виталий прошел за печку, умылся, гремя умывальником, и почистил зубы.

— А дед где? — спросил он, тщательно вытираясь полотенцем.

— На речку за водой пошел.

— Почему меня не попросил?

Катерина пожала плечами, но ничего не сказала.

— Ты что такая невеселая с утра? Заболела, что ли?

Она сделала вид, что не расслышала.

— Что случилось? — не отставал Виталий. — С дедом поругалась? Ладно, не хочешь — не говори.

Катерина вздохнула, но не обернулась.

— Зря я вчера вышила. Говорила ведь, нельзя мне... Нет же — «давай выпьем, давай выпьем»!

— Голова, что ли, болит? Так опохмелись. Налить?

— Да при чем тут это!

— Что же тогда?

— Дура я, вот что.

Катерина помолчала, затем добавила:

— Не знаю, что не меня нашло... Дура, одним словом.

— О чем это ты? — удивился Виталий. Затем кивнул на дверной проем, завешенный одеялом, и заговорил вполголоса: — Из-за него, что ли?

— Да нет его уже. Еще до рассвета в тайгу ушел.

— Вот, значит, в чем дело. — Виталий усмехнулся. — Нашла о ком переживать! Да таких Иванов в любой деревне с десятков наберется.

— А он не из деревни.

— Да хоть из Москвы, все равно... Мне казалось, ты поразборчивее. Поумнее.

— Да нет, как видишь, дура полная.

— Дура так дура, — согласился Виталий и отвернулся к окну. — Никто в тебя силой не заливал. И вообще, девочка, что ли? — Виталий махнул рукой и замолчал.

— У тебя все дураки, — после затянувшейся паузы сказала Катерина. — Ты и его весь вечер пытался дурачком выставить.

— А он есть дурачок. Кто он? Что у него есть? Морали мне читать вздумал, пристыдить пытался, а у самого штаны в заплатках. Смотреть-то не на что: маленький, плюгавенький. Еще борода эта дурацкая... Скажи, я тебя обидел чем-то?

Катерина усмехнулась, щеки покрылись румянцем.

— А что — ты? Ты ведь так, побаловаться. Все равно я тебе не нужна. Попользовался и забыл. Наобещал: «Со мной поедем... На работу возьму...» Наговорил красивых слов. Помнишь хоть, что болтал? А как зовут меня? То Людой называл, то Мариной... — Катерина снова вздохнула. — Ладно, сама виновата, уши развесила. Мы ведь, бабы, всему верим, как дети малые. А пьяные — так и вовсе.

Виталий покачал головой и отошел. Он плохо помнил прошедшую ночь. Хорошо, что с улицы вернулся дед Афанасий и Катерина снова уткнулась в кастрюли.

— Выспался, охотник? — спросил дед, снимая запорошенный снегом тулуп.

— Выспался, — невесело ответил Виталий.

— Может, опохмелимся?

— Опохмелись, я не буду.

— Как знаешь.

Виталий поставил на стол бутылку с остатками водки, себе налил стакан крепкого чая, пару раз глотнул и начал собираться в тайгу.

— Значит, в Широкую падь пойдешь? — спросил дед, наливая в рюмку водку.

— Туда.

— Дорогу-то найдешь?

— Найду. Бывал уже там.

— Снегоход бы тебе дал, да сломанный стоит. Не заводится. Обещали запчасти привезти, да тянут что-то.

— Ничего, на лыжах добегу. Мне так даже полезнее.

— Ты вот что, будь там поосторожнее. Говорят, нынче в тайге волков полно.

— Я сам как волк, — Виталий клацнул зубами. — Любому глотку перегрызу. А с этой штукой, — он взял карабин и потряс им, — мне сам черт не страшен.

— Тайгу ружьем не возьмешь, — поучительно заметил Афанасий. — К ней надо с уважением, тогда и она тебе ответит тем же. Тайга всяких видала. И забирала.

— Не пугай, дед. Не в первый раз, — пробурчал Виталий. — К тому же я ненадолго.

— Если все-таки надумаешь в Дальнее пойти, держи все время на юг, а как...

— Туда не пойду, — прервал деда Виталий. — Сказал, в Ближнее, значит, в Ближнее.

— И правильно, — согласился дед. — Чего одному по тайге лазить? Не ровен час, заблудишься. В прошлом году два охотника из Ангарска сходили здесь у нас на охоту. Сказали, пойдут в Дальнее на три-четыре дня. Прождали мы их больше недели, затем спасателей вызвали. Сначала с собаками искали, потом вертолет прислали. Так и не нашли. Сгнули мужики. Забрала их тайга. И ни следа, ни отметинки. Только воспоминания.

Старик налил себе еще водки и, вздохнув, как на поминках, выпил.

— Не переживай, дед, все будет в порядке. Через пару дней вернись. Да еще с трофеем. Хоть зайца, да подстрелю. А может, и кого покрупнее. Я вообще фартовый.

— Везунчик, значит? Ну-ну... — Дед налил себе еще водки и быстро, пока гость не убрал бутылку, выпил.

Виталий переоделся в пятнистый охотничий костюм, взял рюкзак с провизией, туда же, за спину, закинул карабин и, встав на лыжи, отправился в сторону Широкой пади. Там находилось зимовье, которое охотники называли Ближним. Было еще одно — Дальнее, его потому так и называли, что оно находилось километров на пять дальше. Но там уже совсем глушь. Виталий не собирался туда — засветло не дойти, да и опасно одному, мало ли что может случиться.

Путь до Широкой пади занял больше времени, чем Виталий предполагал: снег был глубокий, рыхлый и дорога большей частью шла на подъем. К тому же без привычки двигаться оказалось тяжеловато. Пришлось пару раз делать привал.

Зимовье, куда Виталий добрался за три с половиной часа, представляло собой небольшой бревенчатый домик с плоской покато́й крышей из толстых жердей и хлипкой дверью, подпертой березовым колом. Внутри небольшая железная печь, в углу стол со скамейкой, у стены лежанка, сколоченная из грубо струганных досок и застеленная ельником, от которого шел «новогодний» запах. Через небольшое оконце с двойными застекленными рамами попадало достаточно света, чтобы днем можно было обходиться без керосиновой лампы или фонаря. С наступлением темноты зимовье дополнительно освещалось огнем из щелей печи и из ее приоткрытой дверцы.

Над столом на узкой и длинной полке стояла посуда: алюминиевый чайник, две миски с ложками и две кружки, а также немного продуктов, оставленных теми, кто был здесь до этого, — полбуханки замерзшего ржаного хлеба, гречневая крупа в прозрачном пакете, соль, чай, сахар в литровой стеклянной банке и пачка махорки. Когда курить нечего, сойдет и это. На печи на видном месте лежал коробок спичек, а рядом на полу — дрова, аккуратно сложенные горкой. Таков таежный закон: оставлять в зимовье немного еды, а зимой и дрова для тех, кто окажется здесь после тебя. В тайге случается всякое, и даже небольшой запас продуктов может спасти чью-то жизнь.

Виталию всего этого не требовалось. Провизии он взял с собой достаточно, при необходимости ее могло бы хватить на неделю, а то и на две.

Сложив на лежанку вещи, он растопил печь, вскипятил воду, добытую из растопленного снега, и заварил чай в кружке. Есть после вчерашнего не хотелось. До вечера еще было далеко, и, попив чая, Виталий решил прогуляться недалеко от зимовья. Не терпелось проверить в деле карабин, сделать хотя бы пару выстрелов. Если повезет, то по живой мишени. Поохотиться всерьез, подольше и подальше, он планировал утром, со свежими силами и основательно подготовившись. Сейчас же отправился налегке, взяв только карабин и немного патронов.

Виталий прошелся по распадку и, сделав небольшой круг, решил возвращаться к зимовью. Заячьих следов заметил много, но самих зайцев не увидел. Зато белок было полно. Они прыгали с дерева на дерево, с ветки на ветку, словно взялись сопровождать его всю дорогу. Виталий даже пару раз брался за карабин, целился в них, но стрелять не решался. То ли жалко было этих маленьких пушистых зверьков, то ли не хотелось напрасно расходовать патроны. А возможно, боялся выстрелом вспугнуть более крупную добычу.

И, как оказалось, не зря. Уже на подходе к зимовью он остановился, чтобы передохнуть, залюбовался видом заснеженной тайги, и ему показалось, что за деревьями что-то промелькнуло. Это явно была

не птица, а кто-то гораздо крупнее. На всякий случай Виталий приготовил карабин и стал ждать. Вскоре из молодого ельника показалась косуля. Она пробиралась по глубокому снегу почти бесшумно, оставив за собой следы, прислушиваясь к каждому шороху. Виталий замер. Он находился от нее против ветра, и животное не могло его учуять. Когда до косули оставалось метров пятьдесят, он прицелился ей в грудь и нажал на курок. Треск выстрела пронзил тайгу, несколько раз гулким эхом отразившись от деревьев и ближайшей сопки. С веток посыпался снег.

Почти одновременно с выстрелом косуля метнулась в сторону и, словно споткнувшись обо что-то, упала на передние ноги. Но тут же вскочила и, прихрамывая, кинулась назад в ельник. Виталий дважды выстрелил ей вдогонку, но она только ускорила и исчезла за деревьями.

То, что косуля ранена, сомнений не было. «А значит, она далеко не уйдет», — подумал Виталий и бросился в погоню. Проследить ее путь не составляло труда. След косули, местами окропленный кровью, отчетливо отпечатывался на снегу. Был слышен хруст ломающихся веток. Однако преследовать животное, пусть и раненое, зимой в тайге оказалось делом непростым: лыжи проваливались и вязли в снегу. Там, где животное бежало напрямик сквозь густые заросли деревьев и кустарника, Виталию приходилось идти в обход, при этом стараясь не терять из виду ее следы. «Главное, не отпустить слишком далеко. Рано или поздно она обессилеет и упадет», — подбадривал себя Виталий.

Погоня длилась уже не менее полчаса, но, похоже, косуля и не собиралась останавливаться, а тем более падать обескровленная и обессиленная. Она все дальше уходила в тайгу, увлекая за собой преследователя. Охваченный охотничьим азартом, Виталий не замечал ни усталости, ни времени, ни того, что начала портиться погода.

Прошло еще полчаса, прежде чем он наконец остановился, тяжело дыша и вытирая со лба пот. Только теперь Виталий обратил внимание, что дует холодный ветер и начинает пробрасывать снег. Но главное, он понял, что уже далеко ушел от своего зимовья и чем дольше продолжится погоня, тем длиннее предстоит путь обратно. Да если еще с трофеем... Косуля хоть и не очень крупная, а килограммов на пятнадцать потянуть может. Но и бросать раненое животное не хотелось. Неизвестно, повезет ли ему еще так же, как сегодня.

Нужно было решать, продолжать погоню или возвращаться назад, в зимовье. Перед Виталием подобные дилеммы вставали не раз: бизнес — это постоянный выбор между за и против. Можно рискнуть и выиграть, а можно и проиграть. Виталий не любил рисковать, предпочитая осторожность. Лучше получить меньше, зато в случае неудачи меньше потерять.

Погода между тем продолжала портиться. К тому же была вторая половина дня, а в тайге темнеет рано.

Виталий взглянул еще раз на следы косули, теряющиеся за деревьями, поправил на ногах лыжи и решительным шагом двинулся в обратный путь. Некоторое время его еще одолевали сомнения в правильности сделанного выбора. Возможно, еще чуть-чуть — и он бы настиг животное. Быть может, оно уже лежит где-нибудь в снегу на последнем издыхании, не в силах подняться... Но скоро все сомнения исчезли: ветер продолжал усиливаться и уже через четверть часа поднялся настоящий буран. Невообразимый гул и шум наполнили тайгу. Закачались и затрещали деревья, сверху с ветвей полетели огромные комья снега. Белая мгла заполнила все пространство. В десяти шагах уже ничего нельзя было разобрать. Его собственные следы, по которым он мог безошибочно вернуться назад, начало заносить снегом. Они исчезали на глазах, словно круги на воде, и через несколько минут исчезли совсем.

Виталий ускорил шаг, стараясь двигаться все время прямо. Ему казалось, если он будет держаться этого курса, то выйдет к Широкой пади, а там непременно сориентируется и найдет свое зимовье. С учетом всех трудностей и расстояния, которое предстояло преодолеть, он мог оказаться на месте через час-полтора. Главное — не сбиться с пути.

Но ни через час, ни через полтора, ни даже через два часа ни зимовья, ни самой Широкой пади впереди не наблюдалось. К тому же начало смеркаться. Появился первый страх: «Неужели заблудился? Что делать, когда наступит ночь? Ждать утра, забравшись под какое-нибудь дерево, или, невзирая на непогоду, пытаться выйти к зимовью?»

Вспомнились предостережения деда Афанасия о волках. Здесь, в тайге, о них думалось по-иному, и угроза повстречаться с голодными хищниками представлялась вполне реальной. Даже карабин, с которым еще недавно Виталий чувствовал себя уверенно, теперь не гарантировал безопасности.

Сквозь гул и свист ветра Виталию явственно послышался протяжный вой. Казалось, он становился все громче. Бешено заколотилось сердце. Неприятный холодок пробежал по вспотевшей спине и мгновенно остудил ее. Появился легкий озноб.

Виталий скинул с плеча карабин, передернул затвор и несколько раз выстрелил: вперед, назад, влево, вправо. Звуки выстрелов разлетались в стороны и тут же глохли в шуме ветра и шершавой пелене снега.

Едва справившись с паникой, Виталий спрятался за ствол поваленного дерева и попытался взять себя в руки.

«Может, закопаться в снег и дожидаться, пока закончится буран? — стал рассуждать он, стараясь реально оценить ситуацию. — Но

непогода может продолжаться несколько дней, а если долго оставаться без движения, так скорее замерзнешь. Может спасти костер, но, чтобы его развести, необходимо тихое, безветренное место. А сейчас даже спичку невозможно зажечь...»

«Спички!» — эта мысль пронзила его как молния.

Скинув рукавицы, Виталий принялся шарить по карманам, ругая себя, что не вовремя отдал два коробка Ивану. Не обнаружив спичек, он закричал, не в силах сдержать досаду и злость.

Конечно, он отдал Ивану не последние спички, имелись еще, но они остались в зимовье вместе с другими вещами. Разве он мог предположить, что все так обернется!

На смену злости пришла растерянность и чувство отчаяния. Виталий снова попытался успокоиться. «Все будет хорошо, — твердил он себе. — Я выйду к Широкой пади. Главное — не падать духом и продолжать двигаться. Оставаться на месте — значит погибнуть! Но в темноте, без ориентиров, человека все время тянет в сторону, обычно вправо. В результате он начинает ходить по кругу. Значит, нужно держаться левее. Тогда, если промахнусь с Широкой падью, есть вероятность оказаться в Лосихе. Это, конечно, гораздо дальше, но тоже шанс на спасение».

Немного передохнув и собравшись с духом, Виталий поднялся и двинулся дальше, в беспросветную и пугающую своей неизвестностью мглу. Он старался не думать, что, возможно, идет не в ту сторону и с каждым шагом все больше удаляется от Широкой пади и от Лосихи, а значит, от своего спасения.

Ветер не утихал, все ощутимее становился мороз. Снег больно хлестал по щекам, от холода сводило скулы, лыжи проваливались в сугробы, застревали в кустарнике. Хуже всего было, когда на пути попадались буреломы. Их приходилось преодолевать в прямом смысле на ощупь, в крошечной темноте пробираясь через ветви и толстые стволы поваленных деревьев.

Нелегко давались подъемы и крутые спуски, а занесенные снегом и невидимые во тьме ямы и овраги были смертельно опасны.

В какой-то момент Виталий почувствовал, что куда-то проваливается. Екнуло сердце, он упал и, пролетев кубарем несколько метров, ударился обо что-то твердое. Возможно, это было дерево или коряга, торчавшая из-под снега.

Несколько минут он пролежал, уткнувшись лицом в снег, боясь даже пошевелиться. Затем попытался подняться, но снова рухнул, почувствовав острую боль в колене. Перед глазами на мгновение вспыхнул пронзительно яркий свет, после чего все вокруг стало еще темнее.

Виталия бросило в холодный пот: «Если это перелом, то мне конец! Здесь и останусь, пока не превращусь в кусок мороженого мяса».

Подождав, пока боль отпустит, он, как мог, ощупал ногу. Кажется, перелома не было, но колено начало распухать. Оно и раньше подводило — сказывалась старая травма, полученная несколько лет назад в аварии. Но одно дело остаться недвижимым в городе, где тебе всегда окажут помощь, а другое — здесь, где подобное может грозит гибелью.

Виталий снова попытался встать, но уже осторожно, опираясь на слетевшую с ноги лыжу. Боль оставалась, но уже не такая острая. Он отыскал на ощупь вторую лыжу — и снова застонал, но теперь не от боли: «Только не это!» Вторая лыжа оказалась сломанной. Виталий понимал, что значит остаться зимой в тайге без лыж...

Зло выругавшись, он выбросил целую лыжу в темноту. Без пары она была бесполезной. Идти на одной лыже по глубокому снегу будет гораздо труднее, чем совсем без лыж.

«За что? — спрашивал он себя. — Что я сделал не так? Конечно, я не ангел, но есть люди гораздо хуже меня. И бесполезнее. Почему я должен умереть?! За что *мне* это?»

Немного успокоившись, Виталий стал себя убеждать, что рано или поздно все закончится. И закончится благополучно. Так случалось не раз. Например, когда на него напали бандиты, требовали заплатить крупную сумму, но он отказался. Его избили, связали, затолкали в багажник «семерки» и повезли в неизвестном направлении. Вероятно, в лес, чтобы убить и, наверное, там же закопать. У бандитов тогда это было модно. К счастью, на дороге оказался наряд омоновцев, «жигулям» дали команду остановиться. Похитители не послушались и проскочили мимо. Уходя от погони, их автомобиль угодил в кювет и перевернулся. Бандиты бросили машину и разбежались, а Виталия, перепуганного, уже попрощавшегося с жизнью, доблестные стражи порядка вытащили из багажника.

И тогда, в той самой аварии, в которой повредил колено, он тоже каким-то чудом спасся. Ему срочно понадобилось ехать в Байкальск. На одном из перевалов на скользкой трассе его «висту» закрутило и понесло под откос. За то мгновение, пока машина катилась вниз, Виталий так же успел попрощаться с жизнью, пожалеть, что не купил на зиму новую резину и не подождал благоразумно до утра, когда трассу разъездят и она станет безопаснее. И не чудо ли, что на пути к двадцатиметровой пропасти, куда он неминуемо должен был свалиться, оказалось одно-единственное дерево — старый полузасохший кедр, неизвестно каким образом сохранившийся на крутом скалистом склоне. Автомобиль врезался в него передним бампером, сломал ствол и невероятным образом зацепился задней подвеской за обломок. Виталий тогда отделался разбитым лицом и травмой коленного сустава.

Вот и сейчас все должно закончиться благополучно. Непонятно, каким образом, но он обязательно спасется! По-другому не должно быть.

Опираясь на карабин, Виталий с трудом выбрался из оврага и, преодолевая боль в колене, медленно двинулся дальше, мысленно повторяя, как заклинание, что обязательно найдет свое зимовье, где его ждет тепло, огонь и кружка горячего, до боли обжигающего губы чая.

Передвигаться по снегу без лыж, да еще с поврежденной ногой, было невыносимо трудно и больно. Колено ныло, чтобы сделать очередной шаг, больную ногу приходилось руками за штанину вытаскивать из снега и передвигать вперед, словно протез. Пройдя таким образом несколько шагов, Виталий валился в снег и подолгу лежал, раскинув руки и закрыв глаза, хотя все равно ничего не было видно. В такие минуты он еще не знал, хватит ли ему сил подняться и идти дальше. Вспомнились слова деда Афанасия об охотниках из Ангарска: «Сгинули мужики. Забрала их тайга. И ни следа, ни отметинки. Только воспоминания».

Виталия охватил ужас: с ним может произойти то же самое. Хотя он сгинет не совсем бесследно. В зимовье остались его вещи. Не обнаружат только карабин и лыжи. Сделают вывод, что он отправился на охоту и не вернулся. Вероятно, заблудился и замерз. Или волки напали, что тоже вполне реально.

Виталий ясно представил, как его закоченевшее, занесенное снегом тело находит стая голодных волков. Острыми зубами хищники вгрызаются в промерзшую плоть, пока не останется куча рваного тряпья и обглоданные кости... Хорошо, что он уже ничего не будет чувствовать!

Проходило какое-то время — может, десять минут, может, полчаса, — и что-то живое, сильное где-то внутри, в глубине сознания, начинало пульсировать, биться, подталкивать, заставляя подниматься. И он поднимался — медленно, с огромным усилием, почти неосознанно. И снова шел.

Неразличимые во тьме деревья вставали на пути непреодолимой стеной. Ветви и сучья цеплялись за одежду, рвали ее, кололи и царапали лицо. Усталость и холод сковывали тело и разум. Хотелось упасть и уже не подниматься. И ничего не видеть, не слышать, не ощущать. Лишь бы все закончилось...

В какой-то момент Виталий обнаружил, что тьма вокруг начала рассеиваться. Стали проявляться очертания деревьев. Снег, который можно было только ощущать, теперь сделался видимым. Рассветало. И хотя ветер по-прежнему не утихал, а мороз к утру, казалось, только стал крепче, вместе с первыми лучами солнца опять забрезжила надежда на спасение. Это придало Виталию сил. К тому же обнаружи-

лось, что тайга начала редеть, стала не такой непроходимой. Кое-где даже виднелись поляны.

Неожиданно сквозь снежную мглу проглянуло большое темное пятно. Виталий закрыл глаза, и, когда он их снова открыл, пятно не исчезло. Вдохновенный, он устремился вперед. Пятно сначала превратилось в почти квадратный силуэт, затем приняло очертания небольшого домика. Без сомнения, это было зимовье! Не то, из которого он ушел, не Ближнее, и даже не Дальнее, его бы он тоже узнал. У этого была двускатная крыша и высоко торчащая над ней труба. Это было незнакомое зимовье. Неизвестно, где оно находилось, насколько далеко от Широкой пади и тем более от Лосихи, если о нем не упоминал даже дед Афанасий. Но сейчас это не имело значения. Главное, случилось то, на что он уже и не надеялся, — он спасен! Спасен каким-то чудесным образом. Мелькнула мысль, что, может быть, в этом зимовье сейчас кто-нибудь есть. Даже показалось, что из трубы вылетает белый дымок. Хотя, возможно, это были лишь снежные вихри, кружащие над коньком крыши.

Виталий поспешил к домику. Не дойдя нескольких метров, он упал и остаток пути проделал ползком. Дверь в зимовье почти до половины оказалась занесенной снегом. Он постучал в нее кулаком и, не получив ответа, принялся руками отгребать сугроб. Освободив дверь, Виталий приподнялся, вцепился в ручку и из последних сил потянул на себя. Дверь с трудом, но без скрипа отворилась.

Внутри было темно, пусто и холодно. Сквозь полумрак, разбавленный тусклым утренним светом, проникавшим сюда через два небольших окна, также до половины занесенных снегом, и открытую дверь, можно было разглядеть сколоченную из досок лежанку, стол со скамьей и длинную, почти во всю стену, пустую полку. Но главное, здесь была печь. Небольшая, сложенная из кирпича и даже когда-то беленная известью. Возле печи лежали дрова — охапка колотых поленьев. Рядом валялся кусок бересты — для растопки.

Виталий закрыл за собой дверь, и непривычная тишина словно отрезала его от остального мира. Буран продолжался, но он остался там, за толстой бревенчатой стеной. А главное, больше не ощущался его холодный, обжигающий напор. Так же непривычно было стоять на твердом деревянном полу, а не проваливаться почти по пояс в снег. Но сейчас все его внимание было приковано к печи и дровам.

Печь и дрова! От одного их вида становилось теплее. Виталий едва не расплакался от нахлынувшей на него радости.

— А разве могло быть иначе? Разве я, здоровый молодой мужик, мог погибнуть? Да еще так нелепо! — бормотал он, забыв о холоде и больной ноге. — Существуют все-таки высшие силы, Провидение, которое вывело меня на это зимовье. А ведь пойдя я чуть в сторону...

Но сейчас об этом не хотелось даже думать. Скорее огня, скорее тепла!

«Плывать, где я нахожусь, в какой стороне, далеко ли от Широкой пади, от Лосихи, — думал Виталий. — Главное, я спасен! А больная нога — это пустяк. Будет время отдохнуть, собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Даже если не смогу идти, здесь меня все равно найдут. Хоть через неделю, хоть через две. Теперь не страшно. Наверняка тут есть немного еды. Хотя бы хлеб, чай и горсть крупы. Но главное, я в тепле!»

Виталий уселся на пол и принялся укладывать в печь дрова. Руки едва шевелились, замерзшие пальцы не разгибались и почти ничего не чувствовали. Но это уже не пугало, еще немного — и он отогреется. И весь этот кошмар, весь перенесенный ужас покажется страшным сном, который вот-вот закончится. Он даже не будет закрывать дверцу печи, чтобы видеть огонь, чтобы любоваться пляшущими языками пламени.

Неужели для того, чтобы понять всю полноту жизни, ее ценность, нужно обязательно пройти через жуткие испытания, побывать на самом краю?

Никогда еще Виталий не ощущал такой радости, какую испытывал сейчас. Были облегчение, удовлетворение, но такой эйфории не было никогда. Даже после самых удачных коммерческих сделок он не чувствовал ничего подобного. Никакие деньги не вызывали таких эмоций, как эта обшарпанная, почерневшая от копоти печь и кучка сухих дров, не имеющая сейчас цены.

Оставаясь на полу, Виталий потянулся за спичками: они должны быть где-то здесь. Если есть печь и дрова, значит, должны быть и спички. Он пошарил рукой по промерзшей чугунной плите, но, к своему удивлению, спичек на ней не обнаружил. Он не без труда поднялся и, словно незрячий, изучающий незнакомый предмет, стал ощупывать всю печь снизу доверху, проверяя каждый выступ, каждую впадинку, каждый кирпичик, — снова ничего! Виталий бросился к полке, обыскал ее вдоль и поперек. Затем проверил стол, подоконник и даже леджанку. Спичек нигде не было. Не было и никакой еды: ни хлеба, ни соли, ни заварки. Все, что он обнаружил, — старый эмалированный чайник с помятым боком и проржавевший на сколах.

— Этого не может быть! — растерянно пробормотал он. — А как же таежный закон?

Он еще раз обыскал все зимовье, проверяя и прощупывая каждый угол. Спичек не было.

Виталий вернулся к столу, принялся выворачивать содержимое карманов в надежде на чудо. Ключи от внедорожника, бумажник с документами и деньгами, записная книжка, авторучка, носовой платок,

расческа. Он даже снял с руки часы. Все эти вещи, несомненно, были нужны и полезны, но при других обстоятельствах и в другой обстановке. Здесь, сейчас от них не было никакого прока. Нужны были только спички стоимостью пятьдесят копеек. Виталий впервые пожалел, что шесть лет назад бросил курить. Тогда бы у него наверняка имелся при себе этот злосчастный коробок или зажигалка.

Виталий лег на пол и стал отчаянно ползать в поисках хотя бы одной, каким-то чудом случайно завалявшейся спички. Он проверял каждый уголок, каждую половицу, каждую щель. Иногда что-нибудь находил, но затем с разочарованием выяснял, что это всего лишь маленькая щепочка или обломок ветки.

Снова стало невыносимо холодно. Стараясь сохранять спокойствие, Виталий спрашивал себя: «Что делать? Остаться здесь без надежды на тепло или, пока еще день, отправиться на поиски своего зимовья? Только куда идти, в какую сторону? Да еще в такую погоду... И далеко ли я смогу уйти с больной ногой? Если уж суждено замерзнуть, то лучше здесь. Хотя бы звери не сожрут и мои останки когда-нибудь обнаружат».

Виталий вернулся к столу, вырвал из записной книжки чистый листок, взял скрюченными пальцами авторучку и попытался написать прощальную записку. Но ничего не вышло, ручка замерзла и не писала.

Его снова затрясло. Теперь не только от холода, но и от обиды, что судьба так жестоко посмеялась над ним, сначала дав надежду на спасение, а затем отобрав ее, лишь немного отсрочив неминуемую гибель. Обиднее всего, что погибнуть придется от отсутствия такого пустяка, как спички.

«Помощи ждать неоткуда. Вспомнят обо мне только через пять-шесть дней, не раньше. Потом еще пару дней подождут, вдруг сам вернусь, и только потом начнут беспокоиться, — с горечью размышлял Виталий, оценивая свое положение. — Может, даже отправятся искать. Хотя кому искать? В деревне одни старики, они в тайгу не пойдут. Других охотников нет и в такую погоду не ожидается. Был один — Иван, так и он наверняка еще вчера вернулся из тайги и уехал в город. Получается, я обречен».

Ветер между тем не утихал. От его ударов содрогались стены, звенели стекла на окнах и скрипела дверь. Когда порывы усиливались, казалось: еще немного — и снесет крышу.

Иногда наступало затишье. В один из таких моментов Виталию почудилось, будто в дверь кто-то скребется, пытаясь ее открыть.

Мелькнула надежда.

— Кто там? — осипшим голосом спросил он.

Ответа не последовало.

— Я здесь! — насколько хватило сил, крикнул Виталий.

Волоча ногу, он подошел к двери и слегка приоткрыл ее. В зимовье ворвался густой белый вихрь, ударяя снежной крупой в лицо. В следующий момент ему показалось, что перед ним возникла огромная оскаленная пасть. Виталий захлопнул дверь, схватил карабин, передернул затвор и несколько раз выстрелил перед собой. Чуть выше порога образовались едва заметные отверстия от пуль.

Он немного подождал и снова приоткрыл дверь, надеясь увидеть убитого им волка. Но у двери никого не было. Виталий еще несколько раз выстрелил вверх, чтобы, если хищники все же рядом, отпугнуть их. Потом закрыл дверь и сел на лавку. Пахло сгоревшим порохом, а от ствола карабина приятно веяло теплом. Он схватился за него и держался обеими руками, пока металл снова не стал обжигать холодом.

Виталий отставил карабин в сторону, прислонился плечом к стене и закрыл глаза. Его непреодолимо клонило ко сну. Он то впадал в полубезыбие, видя короткие и весьма реалистичные сны, то возвращался в ледящую тело и душу реальность, порой не понимая, спит или бодрствует.

Вот перед ним длинный стол, за ним сидят его друзья, человек пять. На столе букет цветов, много закуски и вина. Всем весело. Через мгновение он уже в избе у деда Афанасия. Топится печь. Тепло и уютно. Сам дед сидит на диванчике в шапке и валенках. Катерина пьет чай, она почему-то в летнем платье, смотрит на Виталия и улыбается. Затем открывается настежь дверь, в избу с шумом врывается снежный вихрь, заполняя собой все пространство... Это уже не изба деда Афанасия, а темное холодное зимовье, и вместо деда Афанасия и Катерины — кто-то неизвестный. По облику — человек. Он весь в белом с ног до головы, словно только что вытклся из клубов снега.

«Что это, сон или галлюцинация? — думает Виталий. — Или я умер и ко мне явился ангел? Белый ангел!»

Наверное, Виталий уже был готов к этому, и потому мысль о смерти не испугала его. Он лишь немного удивился: если это ангел, почему у него такой странный вид?

Ангел был в полушубке, лохматой шапке, валенках и, что совсем не вязалось с общепринятым обликом, — с бородой. Почти как у Деда Мороза, только поменьше. По очертаниям, и особенно бородой, он напоминал Ивана. Того самого, с которым накануне встречались в Лосихе у деда Афанасия. Виталий даже немного обиделся: «Что, у них там другого ангела не нашлось? Явился самый затрапезный. Хотя кто знает, какие они, эти ангелы, бывают на самом деле. Кто их при жизни видел? Это только на картинках они младенцы, голые и с крыльями. А в действительности, наверное, принимают образ того человека, с которым ты общался накануне, пока был жив».

Станным показалось и то, что он, хоть и умер, почему-то до сих пор чувствует холод, пусть и не так сильно. Насколько он знал, смерть должна приносить облегчение, как душевное, так и физическое. В этом ее главное, а может, и единственное преимущество перед жизнью.

Возможно, ему и дальше бы лезли в голову разные мысли, если бы «ангел» не заговорил.

— Виталий, это ты, что ли? — Голос был настолько естественным и удивленным, что Виталий тут же очнулся, выйдя из полубытья.

«Нет, это не сон, не галлюцинация! И я вовсе не умер — я все еще жив! — про себя воскликнул он. — Это Иван — настоящий, не ангел. И голос его, и шапка, и борода. А белый, потому что в снегу. Ведь там, снаружи, все еще бушует буран».

Виталий был готов броситься к нему, обнять, может, даже расцеловать. Но смог только вымолвить:

— Я, как видишь...

— Что ты тут делаешь? — спросил Иван все тем же удивленным тоном.

— Жду, — ответил Виталий, еще не до конца осознавая, что это все не во сне.

— Чего ждешь?

— Когда буран закончится.

— Ты же сейчас должен находиться в Широкой пади.

— Должен, — стараясь унять дрожь в голосе, сказал Виталий.

— А как здесь оказался?

— Долго рассказывать, — неуклюже отмахнулся Виталий.

Ему не хотелось показывать перед Иваном свою беспомощность. Он пытался говорить как можно естественнее, хотя из этого ничего не получалось. Стянутое от холода лицо, дрожащие челюсти и онемевший язык мешали нормально произносить слова. Да и выглядел он ужасно: лицо в глубоких царапинах и ссадинах, куртка разодрана в клочья, из шапки во все стороны торчал мех.

— Ну и видок у тебя! — все так же удивленно сказал Иван, в упор разглядывая Виталия. — Ты что, с медведем подрался?

Виталию не хотелось отвечать. Он думал только о том, чтобы скорее согреться.

— Растопи печь, — попросил он.

— Растопить печь? — спросил Иван не то с удивлением, не то с издевкой. — Ты что, собрался жить здесь?

— Куда же идти в такой буран? Да и ты погреешься.

— А я не замерз, — уверенно произнес Иван.

Действительно, он, хоть и был весь в снегу, выглядел бодро и совсем не замерзшим. Наверное, потому что все время находился в движении.

— А я немного замерз, — признался Виталий.

— Немного? — воскликнул Иван. — Да ты уже инеем покрылся!

Видать, давно здесь сидишь.

Виталий ответил не сразу.

— С утра.

Иван покачал головой:

— Странно все это.

— Чего странного?

Иван прошелся по зимовью, взял стоявший у стены карабин.

— Ты стрелял? Зачем?

— Показалось, волки приходили, — насупившись, ответил Виталий.

— Волки? — Иван громко рассмеялся. — Много их было?

Он покрутил в руках карабин, проверил магазин, заглянул в патронник и поставил оружие на место.

— Зря смеешься, — обиделся Виталий. — Дед Афанасий предупреждал, что их нынче полно в лесу. Да что об этом, давай уже растопи печь! — более настойчиво попросил он.

Но Иван словно не слышал его.

— И все-таки как ты здесь оказался?

— Что непонятного? Пошел поохотиться, тут начался буран. Вот и решил переждать здесь.

— Это же далеко от Широкой пади!

Виталий то ли поежился от холода, то ли пожал плечами.

— Так получилось... А ты сам-то как здесь оказался?

— Я-то? — Иван подошел к столу и принялся рассматривать вещи, которые Виталий выложил из карманов. — Я возвращаюсь с Соболиной горы. Тропа как раз рядом проходит.

— Чего не переждешь? Ни черта ж не видно.

— А если пурга неделю не утихнет? Лучше уж переждать в Лосихе у деда Афанасия.

— Далеко до Лосихи? — осторожно спросил Виталий.

Иван задумался, прикидывая, сколько может быть до Лосихи.

— Километров пятнадцать, я думаю.

— Пятнадцать? — Виталий покачал головой.

— Может, чуть дальше.

— А до Широкой пади?

— Туда не меньше двадцати. Это если идти по прямой, через сопку. А в обход, по распадку, то и вовсе тридцать будет. Удивляюсь, как ты досюда дошел.

— Сам удивлен, — тихо произнес Виталий. — В яму провалился, чуть ногу не сломал. Кое-как доковылял. Думал, замерзну в тайге. Хорошо, это зимовье нашел.

— Повезло тебе.

— Повезло, — невесело согласился Виталий. — Как догадался заглянуть сюда?

— Услышал выстрелы. Удивился, что за чудак в такую погоду охотиться вздумал. Оказывается, это ты от волков отстреливаешься.

— Издеваешься? — Виталий взглянул на Ивана с укоризной. — Ну-ну, продолжай. Только печь растопи. Дрова уже приготовлены, осталось спичкой чиркнуть!

— Сам-то почему до сих пор не растопил? — задал резонный вопрос Иван. — Ведь с утра уже здесь.

— Собирался. Да вот ты явился...

Видя, что Ивана его ответ не убедил, Виталий решил сказать как есть. Пусть злорадствует, все равно больше не увидимся. А терпеть холод уже нет сил.

— Спичек у меня нет, — выдавил он из себя. И, помолчав, добавил: — Остались в зимовье вместе с другими вещами.

— Нет спичек? — Лицо у Ивана от удивления вытянулось. — Ну и дела! Как же так? То торговал спичками, а теперь сам остался без них. Внедорожник за пятьдесят тысяч зеленых приобрел — специально для охоты; карабин последней модели. Само собой, провизии накупил. Даже на черную икру не поспешил. А о копеечных спичках не позаботился! Ведь утверждал, что все предусмотрел.

— Злорадствуешь? — огрызнулся Виталий. — Посмотрел бы я на тебя, если б ты оказался на моем месте.

— Каждый оказывается на том месте, какого заслуживает, — с нескрываемым удовольствием заявил Иван. — К тому же я не злорадствую — просто настроение у меня улучшилось, как тебя увидел. Так жизнь устроена: вчера тебе было весело, сегодня — мне.

— Хватит смеяться, — пробурчал Виталий. — Мне совсем не до веселья. Столько пришлось вытерпеть! Чуть не замерз, пока сюда дополз. А здесь ни спичек, ни еды — ничего. Только дрова. Что с них толку, если разжечь нечем! Теперь ты издеваешься... Растопи же наконец эту чертову печь!

Иван громко вздохнул:

— Догадываюсь, как тебе было несладко. Но... помочь ничем не могу.

— Это почему? — теперь уже удивился Виталий. — У тебя же есть спички. Должны быть. Я сам тебе дал два коробка!

— Продал! — поправил Виталия Иван.

— Ну продал. Какая разница? Спички-то у тебя имеются. Вот и растопи печь!

— Не могу.

— Почему не можешь? Спичек, что ли, жалко?

— Не поверишь, жалко. Дорого они мне обошлись. — Иван хлопал себя по карману, где, видимо, они лежали. — Жалко тратить по пустякам.

— Не валяй дурака, — чуть резче произнес Виталий. — Не обеднеешь, если истратишь всего одну.

— Мне и одной жалко. Сегодня спичку истратишь, завтра без штанов останешься. У меня тоже есть свои принципы.

— Что за бред ты несешь! Ты мне мстишь? Мстишь за то, что я предприниматель? Не ты ли утверждал: «Охотник охотнику должен помогать»?

— Я и сейчас это утверждаю: охотник охотнику должен помогать. И я тебе помогу, не брошу здесь одного.

— Как же ты мне поможешь?

— Ты же заблудился, насколько я понимаю? Вот я и выведу тебя отсюда. Как тебе такое? Давай, собирайся!

— Куда собираться? — испуганно воскликнул Виталий.

— В Широкую падь нет смысла возвращаться — далеко, тебе не дойти. Отправимся в Лосиху. Туда ближе, но все равно нужно поспешить, чтобы успеть до темноты.

— Я никуда не пойду, останусь здесь! — категорично заявил Виталий. — Мне нужно отогреться и отдохнуть. Я всю ночь в тайге провёл, пока не оказался здесь.

— Вот в Лосихе и отогрешься! — Иван жестом велел ему подниматься. — У деда в избе тепло. Печь, наверное, топится, щи варятся. А хочешь, баньку натопим? Ты ведь любишь баню. Катерина как следует тебя попарит! Давай-давай, пошевеливайся!

— Ты надо мной издеваешься? — зло пробурчал Виталий. — Это все из-за Катерины? У нас ничего не было. И не нужна она мне.

— Ну что ты, я зла на тебя не держу. Видишь, даже пытаюсь тебе помочь! Дорогу знаю, не заблудимся. Если поторопимся, к вечеру будем там. В крайнем случае к утру.

— Какой вечер, какое утро? — застонал Виталий. — У меня нога больная. Мне и ста метров не одолеть. Ты же не потащишь меня на себе?

Иван внимательно посмотрел на Виталия, на его ногу.

— Да, ты прав. И что предлагаешь?

— Затопи печь для начала.

— А потом? Ты ведь все равно самостоятельно не сможешь отсюда выбраться.

Виталий подождал, когда уймется дрожь.

— Давай поступим так. Ты пойдешь один, а я здесь останусь. Тебе надо будет добраться до города и сообщить обо мне в МЧС. Пусть вертолет пришлют.

— Какой, к черту, вертолет в такую погоду? Ты что, мозги отморозил?

— Тогда что-то другое пусть отправят. Вездеход какой-нибудь или снегоход. Только скорее. Ты ведь знаешь, где мы находимся, дорогу покажешь?

— Конечно, покажу, — согласился Иван.

— В МЧС работает мой приятель — майор Гришин. Расскажешь ему все обстоятельства. Нет, не так: в записной книжке найди фамилию Романов. Запиши его телефон. Позвони ему и скажи, что мне нужна помощь. Только без подробностей. Он все организует. А ты ему поможешь. В долгу не останусь, отблагодарю.

Иван взял на столе блокнот, вырвал из него страницу с фамилией Романов и положил в карман.

— Сделаю все, что в моих силах.

— Сколько мне ждать придется?

— Трудно сказать. К вечеру бы до Лосихи добраться. Да и до города еще нужно как-то доехать. Дорогу наверняка замело. Узик, сам знаешь, ненадежный. Хорошо, если не сломаюсь дорогой или не застряну.

Виталий задумался.

— Ладно, черт с тобой, — сказал он после недолгого размышления. — На «крузере» сможешь ехать?

— Наверное, смогу.

— Ключ на столе. — Виталий кивком показал на ключ от своего внедорожника. — Так будет надежнее и быстрее.

Иван пожал плечами:

— Ладно. Тогда и документы давай. Мало ли: остановят, обвинят в краже. Доказывай потом, что я не угонщик, а человеку жизнь спасаю.

Виталий кое-как раскрыл бумажник, вынул из него документы на автомобиль и подал Ивану.

— Только осторожнее, — предупредил он. — Не гони. И машину потом оставь там же, у деда.

Иван застегнул пуговицы на тулупе, поправил шапку и направился к двери.

— Ну, я пошел.

— Пстой! — испуганно закричал Виталий. — А печь?

— Что — печь?

— Печь растопи сначала, а потом отправляйся.

— Про печь мы не договаривались. Я только согласился вызвать спасателей.

— Что ты как маленький! Я ни рук, ни ног уже не чувствую. Мне не выдержать здесь даже двух часов, замерзну.

— Выдержишь, — ободряюще заверил Иван. — Знал одного охотника, так он неделю просидел в холодной избушке без еды и тепла. И ничего, выжил. Только пальцы на ногах обморозил. Ему их пришлось ампутировать. Так он неделю просидел в холоде, а тут всего-то сутки, максимум двое.

— Иван, прошу тебя, растопи печь! Умоляю! Не будь таким злым-нем! — взмолился Виталий. — Признаю, я был неправ. И насчет Катерины, и с этими дурацкими спичками. Но ты ведь уже вдоволь поиздевался надо мной. Может, хватит? Все равно ведь растопишь. Чего тянешь, зачем мучаешь меня? Растопи прямо сейчас! Я не останусь в долгу. Как только выберемся отсюда, я тебя за все отблагодарю.

— Ну что ты, какая благодарность. Я помогаю тебе бескорыстно, как охотник охотнику. Земля хоть и большая и дорожек на ней много, как ты говоришь, но они все же иногда пересекаются. Вот и наши пересеклись.

— Я понял, — прохрипел Виталий. — Я все понял. Если тебе жалко спичек, тогда давай я их куплю у тебя. Ты ведь можешь мне их продать?

— Хочешь купить у меня спички? — оживился Иван. — То есть выкупить их назад?

— Да, верно. Выкупить их назад. — Виталий потянулся к бумажнику. — Назови цену.

Иван заходил по зимовью взад-вперед.

— Надо подумать.

— Что тут думать? Вот тебе двести рублей...

— Почему двести?

— Ты же заплатил за них двести. Причем за два коробка. А я покупаю у тебя один за двести. Второй остается у тебя. Имеешь сто процентов прибыли.

— А это не дешево?

— Ну хорошо, дам тебе триста, — легко согласился Виталий.

— А если четыреста?

— Могу и четыреста заплатить, только давай быстрее. Я уже не могу терпеть.

Иван вздохнул, но отдавать спички не спешил.

— Понимаю твое нетерпение, — сказал он. — Но и ты пойми меня — боюсь продешевить.

— Как можно продешевить? — возмутился Виталий. — Это всего лишь спички. Не дом, не автомобиль — спички! Даю тебе пятьсот. За пятьсот — точно не продешевить.

Иван покачал головой:

— Нет, это теперь не простые спички! Это спички необыкновенные. Им теперь цены нет. Сам посуди: тайга, глушь, магазины далеко. Где ты их еще возьмешь, кроме как у меня?

— Это запрещенный прием. Так дела не делаются!

— Не ты ли про пожары и наводнения рассказывал? Мол, нужно учитывать сложившуюся ситуацию...

— Ладно, даю тысячу! С учетом всего того, что ты перечислил, этого будет достаточно. Хотя здесь нет ни пожара, ни наводнения.

— Сейчас твое положение намного хуже, чем если бы случился пожар или наводнение. Тысяча рублей — это мало.

— Хорошо, две тысячи! За две-то продашь?

Иван покачал головой:

— Нет.

— Как — нет? — снова возмутился Виталий. — Не сходи с ума! Вот тебе две тысячи, давай сюда спички!

Виталий снова взялся за бумажник, но, видя, что Иван продолжает качать головой, прохрипел:

— Черт с тобой! Три тысячи. Соглашайся, прошу тебя! Они не стоят столько, даже здесь. Посуди сам, разве спички могут стоить три тысячи? Ты отдал за них всего двести рублей. Это символическая цена.

— Тогда и ситуация была иной. Здесь они стоят дороже.

— Не могут они стоить дороже!

— Могут. — Иван говорил спокойно и уверенно. — Скоро ты сам в этом убедишься.

— Хорошо, хорошо! — заторопился Виталий. — Бери все, что есть. У меня пять тысяч! Три твоих и еще две моих. На бензин оставлял... Уму непостижимо! Коробок спичек покупаю за пять тысяч. Кому рассказать, не поверят. Да, умеешь ты... Недооценил я тебя.

Виталий взглянул на Ивана, и его затрясло сильнее.

— Не дури! Ты издеваешься надо мной? Сколько же ты хочешь за эти дурацкие спички?

Иван не спеша расстегнул полушубок, достал из-за пазухи коробок и стал крутить его в руке, рассматривая со всех сторон, словно это были не спички, а слиток золота или драгоценный камень.

— За эти дурацкие спички, — Иван потряс коробком, — я хочу получить миллион рублей.

Слова «миллион рублей» Иван произнес как можно разборчивее, чтобы тот, кому они предназначались, не решил, что ослышался.

Виталий какое-то время молчал, не зная, как реагировать на это. Затем его замерзшие губы слабо дернулись в попытке улыбнуться.

— Я понял, — сказал он. — Ты шутишь. Разыгрываешь меня. А я ведь почти поверил.

— Считаешь, сейчас время для шуток? — как можно серьезнее сказал Иван. — Твое положение тебе кажется смешным? Что ж, значит, не все так плохо... Но на всякий случай, если ты не расслышал

или не так понял, повторю: спички стоят миллион рублей! Если есть желание, можешь купить.

— Бред! Полнейший бред! — Виталий задышал чаще. — Ты болен! Ты сошел с ума! Сам-то понимаешь, что... За миллион можно купить вагон спичек. Да я лучше замерзну, чем...

Виталий замолчал.

— Как знаешь. — Иван пожал плечами. — Никто никого не заставляет.

Он сунул спички обратно в карман и стал застегивать полушубок.

Виталий уставился на него холодным стеклянным взглядом, в котором читались отчаяние и страх.

— Даже если бы я захотел купить, у меня нет миллиона. — Он снова попытался вытащить из бумажника деньги. — Это все, что у меня есть. Забирай!

— Ты можешь расплатиться банковской картой, — предложил Иван.

— На ней ничего нет.

— Ты утверждал, что на ней три миллиона!

— Ты подслушивал? — Виталий взглянул на Ивана с ненавистью.

— Нет, услышал. Ты так громко хвастался.

— Подло.

— Сейчас не время, чтобы выяснять, кто из нас подлее.

— Я говорю правду. На этой карте ничего нет. Я был пьян. Блефовал. Хотел произвести впечатление.

— У тебя получилось. Произвел. Я тоже тебе поверил. Так что давай проведем обмен: ты мне — карту, я тебе — спички. Обещаю, возьму ровно миллион. А если на ней ничего нет, что ж, значит, я ничего не получу. По рукам?

Виталий затряс головой.

— Я не отдам тебе карту. Не имею права. Она именная, ее нельзя передавать другим лицам. Я заплачу позже. У меня есть деньги на счету. — Он замолчал, снова взялся за бумажник и вытряс из него содержимое, включая деньги и карту. — Забирай пока это. Здесь тридцать тысяч. Позже получишь еще. Только растопи печь!

— Мил-ли-он! — по слогам произнес Иван.

Виталий спрятал голову в воротник куртки и замер, уставившись в пустоту.

— Хорошо, — сказал Иван. — Нет так нет. Постарайся не засыпать, а то на самом деле замерзнешь, прежде чем я за тобой отправлю помощь. — Он повернулся и направился к двери.

— Постой! — остановил его Виталий. — Забирай.

Иван не торопясь, словно нехотя, вернулся к столу и забрал карту.

— Красивая. У меня другая, — сказал он, разглядывая ее со всех сторон. — Сделка почти состоялась, осталось назвать код.

— Какой код? — Виталий сделал вид, что не понимает, о чем речь.

— ПИН-код карты, разумеется. Четыре цифры.

Виталий замотал головой:

— Не помню. Честное слово! Я в таком состоянии, что ничего не помню... Он записан в другой книжке. Она осталась там, в зимовье. Когда выберемся отсюда, я тебе его сообщу. До тех пор карта пусть останется у тебя.

— Ну, Виталий, это несерьезно. Это все равно, что я тебе оставлю пустой коробок.

Виталий снова замолчал. Иван присел с ним рядом.

— Подумай, разве деньги стоят того, чтобы так страдать, мучиться, даже рисковать здоровьем? А то и вовсе жизнью? Зачем тогда они нужны, если не можешь воспользоваться ими?

Виталий тяжело и с хрипом задышал, словно ему не хватало воздуха.

— Эти деньги я заработал. Честно заработал. А ты хочешь их отнять у меня, ограбить. Знаешь, ты кто? Бандит!

— Я бандит? — усмехнулся Иван. — Я твой ангел-спаситель! Без меня ты мог бы погибнуть. Ведь тебе самому отсюда не выбраться.

— Нет, ты не спаситель, ты — хищник. Волк! Вцепился зубами в горло — и душишь, и душишь!

— Сам же учил: чтобы выжить, нужно быть сильным и зубастым, иначе тебя сожрут! Вот я и стараюсь соответствовать. Как говорится, с волками жить — по-волчьи выть.

— Будь все проклято! — Голос Виталия наполнился отчаянием и злобой. — Будь проклята эта охота, тайга, это зимовье, и ты тоже! Лучше бы я замерз один и не унижался бы сейчас перед тобой — маленьким ничтожным человечком, способным лишь воспользоваться случаем!

— Раньше ты называл это благоприятными условиями для бизнеса, — возразил Иван. — Это хорошая сделка: ты мне — миллион, я тебе — спички. Дороговато? Может быть. Все зависит от обстоятельств. Тебе осталось назвать четыре цифры, и в печурке тут же запольхает огонь. Ты даже пожалеешь, что так долго торговался.

Виталий посмотрел на Ивана с обреченностью приговоренного к казни, понимая, что помилования не будет. Еще немного оттянув момент, когда, по сути, он лишится своих денег, он назвал ПИН-код карты. Иван попросил повторить цифры еще раз и чуть внятнее, после чего сам отчетливо и громко произнес их вслух.

— Я правильно запомнил? — спросил он, вставая со скамейки.

— Правильно, — сквозь зубы процедил Виталий. — Давай спички! А лучше растопи сам. Я не в состоянии. Пальцы уже онемели.

Иван подошел к печи и открыл в трубе заслонку.

— Сразу предупреждаю: я сообщу о тебе лишь тогда, когда деньги будут у меня в кармане. Если обманул или, не дай бог, ошибся, помощь жди только через месяц. Без еды ты столько не протянешь. Да и дрова к этому времени закончатся. А без меня тебя здесь не найдут. Во всяком случае, до весны. Сам видишь, зимовье заброшено, сюда никто не ходит... Здесь такое место... гиблое, что ли. Да ты и сам в этом убедился.

— А если ты меня обманешь? — испуганно спросил Виталий. — Заберешь деньги и забудешь про меня?

— Нет, я не стану брать грех на душу. Как договорились, возьму миллион и тут же о тебе сообщу. Не успеешь отогреться, как за тобой придут.

Иван достал из кармана коробок, вынул из него спичку и, покрутив двумя пальцами, словно фокусник, показывающий зрителям предмет, с которым сейчас произойдет чудо, зажег ее. Зимовье озарилось тусклым холодным светом. Желтый огонек в руке Ивана проплыл к лежащим в печи дровам и коснулся бересты, торчавшей между поленьями. Береста тут же вспыхнула, коптя и потрескивая, из печи приятно потянуло дымком. Сухие дрова, охваченные огнем, мгновенно запылали, распространяя из открытой топки тепло и свет. Иван еще немного полюбовался пляшущими на поленьях языками пламени и закрыл дверцу.

— Наверное, эти спички ты будешь хранить как талисман! — сказал он, кладя коробок на стол рядом с Виталием. — Они ведь, можно сказать, спасли тебя.

Виталий с трудом поднялся со скамьи, доковылял до печи и вытянул над чугунной плитой скрюченные пальцы. С плиты уже поднялся пар от тающего на ней снега.

— Надоело тебя слушать, — сказал он, не оборачиваясь. — Думаешь, такой умный? Просто тебе повезло. Нелепая случайность, что ты застал меня в таком дурацком положении.

— Вся жизнь состоит из случайностей, — ответил Иван. — Видно, судьбе было угодно, чтобы мы встретились. Ты еще не понимаешь всей нелепости своего положения. Осознание всегда приходит позже.

— Хватит! — резко оборвал Виталий. — Отправляйся быстрее и вызови помощь.

— Не волнуйся. Мне самому не терпится получить свой миллион. Но сначала еще немного позабочусь о тебе.

Иван взял с полки чайник и вышел с ним наружу. Через минуту он вернулся, поставил наполненный снегом чайник на печь.

— Когда вскипит, выпей горячей воды, так быстрее согреешься. Главное, из зимовья не высовывайся. Вдруг на самом деле волки, с больной ногой не убежишь. Ну и про печь не забывай, вовремя подкладывай дрова. Хотя чего беспокоиться? Теперь ты со спичками.

Иван еще постоял, словно вспоминая, все ли сказал и сделал, и направился к двери. Перед тем как выйти, обернулся.

— Да, чуть не забыл... Спасибо за урок. Ты был прав — действительно, работает.

Виталий брезгливо поморщился.

— Машину оставь там же, у деда, — сказал он дрожащим от озноба голосом.

— Хорошо, — сказал Иван, еще на мгновение задержавшись. — Но я подумаю над твоим предложением.

— Над каким предложением? — насторожился Виталий.

Но Иван уже не слышал его. Выйдя из зимовья, он тут же растворился в снежной мгле, сквозь которую едва проглядывали ближайšie деревья.

Виталий всем телом прижался к печи, будто хотел слиться с ней во едино. От тепла его затрясло еще сильнее. Нестерпимо заныли пальцы рук. По всему телу волной прокатился озноб.

«Все-таки мне повезло, — стал успокаивать он себя. — И эта избушка, и Иван, появившийся неизвестно откуда, — это ли не чудо? А миллион... Выберусь отсюда, разыщу этого голодранца, семь шкур с него сдеру. Всю жизнь на меня пахать будет».

Его опять потянуло на сон. Сказывались усталость, бессонная ночь и перенесенный стресс. Положив в печь два больших сучковатых полена, чтобы подольше горели, Виталий бросил на лежанку свою разодранную куртку, лег на нее и мгновенно уснул.

Сон был тревожным и чутким. Он часто просыпался, с испугом глядел на печь — не погас ли огонь, и всякий раз судорожно лез в карман, проверяя, на месте ли спички. Убедившись, что на месте, снова засыпал.

Под вечер того же дня, едва начало смеркаться, дверь в зимовье распахнулась и на пороге появился дед Афанасий.

Виталий соскочил с лежанки и растерянно уставился на него:

— Дед Афанасий? Ты? Один?

Виталий ждал, что за ним придут не раньше утра, а то и вовсе к вечеру следующего дня. И что это будет не дед Афанасий, а спасатели. В крайнем случае его друзья.

— А с кем мне еще быть? — пожал плечами дед. — С Катериной, что ли?

— Так быстро! На снегоходе, что ли?

— Почти, — скупой улыбнулся дед. — Саночки за дверью стоят.

— Какие еще саночки? — не понял Виталий.

— Обыкновенные. Воду на них с речки вожу.

— Дед, ты что, смеешься? Пятнадцать километров меня на санках собрался везти? У меня же нога больная. Я сам идти не могу. Разве тебя Иван не предупредил?



— А кто тебя пятнадцать километров повезет? — усмехнулся дед. — Чего захотел! Только до избы.

— До какой избы? — Виталий растерянно смотрел на деда.

— Как до какой? До моей, конечно.

На лице Виталия отобразилось еще большее удивление и растерянность.

— Это сколько же до твоей избы?

— Ну, сколько... — Дед Афанасий наморщил лоб, словно в уме решал сложную математическую задачу. — Метров сто, думаю.

— Как... сто метров? — Виталий почувствовал, как жар разливается по всему телу, от ног к голове и обратно. — Пстой, дед, пстой... Это где же я?

Надев только валенки, Виталий выскочил из зимовья и, стоя по колено в снегу, стал осматриваться. Уже вечерело, но света еще хватало. К тому же метель утихла, и густой зимний воздух был тих и прозрачен. Недалеко, за небольшой рощицей, если присмотреться, виднелись дома. Оттуда через сугробы зигзагами шли свежие следы ног и полозьев санок.

— Не узнаешь? Это Лосиха. Только с другой стороны, — сказал дед Афанасий, выйдя следом за Виталием. — А вон, видишь, за сосенками дымок из трубы валит? Это моя изба. Баня топится. Да уже готова, наверное.

Виталий растерянно оглянулся и дрожащей рукой показал на зимовье, из которого только что выскочил:

— А это... Это что за избушка?

— А-а... — Дед поправил съехавшую на глаза шапку. — Эта избушка давно заброшена. Ее когда-то охотники поставили, которые приезжали в Лосиху. Затем все стали останавливаться у меня и в ней надобность отпала. Уже лет пять пустует.

Лицо Виталия исказилось от злобы:

— А где этот... Иван?.. Где он?!

— Так уехал. Как с охоты пришел, собрался и уехал. На твоей машине. Сказал, вы обо всем договорились. Очень довольный был. Говорил, что такой охоты у него еще не было. Волка будто бы подстрелил. Здоровенный, мол, волчара попался. Шкуру с него содрал. Правда, шкуры я не видел. Может, в машине уже лежала.

— Что еще?.. Что обо мне сказал?

— Сказал, что будешь ждать меня в этой избушке. И чтобы я, как начнет смеркаться, не раньше, пришел за тобой с саночками. Сказал, ногу ты повредил. Пятьсот рублей мне дал.

Виталия снова затрясло. Даже сильнее, чем когда он замерзал. Только сейчас он в полной мере начал осознавать, как жестоко был обманут. А ведь можно было догадаться: у Ивана не было с собой ни

ружья, ни мешка, ни лыж. Не мог он возвращаться с Соболиной горы! И эта избушка совсем не похожа на таежное зимовье. Кто потащит в глухую тайгу кирпичи, чтобы сложить печь, да еще потом станет белить ее известью? И окна, и пол, и двускатная крыша — все должно было подсказать: здесь что-то не так.

— Да, вот еще что, — сказал дед. — Иван просил передать, что принимает твоё предложение. Он согласен на обмен.

Виталия прошиб холодный пот.

— На какой обмен?

— Твой внедорожник — на Катерину. Ты ему машину, значит, отдаешь, а он от нее отступается.

— Дед, ты что несешь, какой обмен?! — Виталий схватил Афанасия за грудки и принялся трясти.

Тот испуганно заверещал:

— Он сказал, у тебя был такой разговор с Катериной! Да и она подтвердила... Баню вон готовит. Дымок видишь из трубы? — Дед глазами показал в сторону своего дома.

Лицо Виталия налилось кровью. Он бросил старика и с криком: «Убью гада!» — кинулся в избушку. Назад выскочил с карабином, на ходу натягивая ободранную куртку и шапку.

Дед Афанасий с опаской подкатил санки:

— Садись. Нога-то больная.

— Ты что, старый, совсем из ума выжил? — Виталий со злостью оттолкнул старика в снег и быстро, насколько мог, поковылял к его дому.

Там, не теряя времени, он принялся заводить УАЗ, оставленный Иваном. Простоявший два дня на морозе двигатель не заводился. Пришлось паяльной лампой разогреть картер и залить в радиатор горячей воды, благо ее в бане было полно. Провозившись до ночи, Виталий вернулся в избу, выпил полный стакан водки и свалился на диван.

На другой день поздно вечером в Лосиху прибыли его друзья. Четверо. Они привезли шампанское, вино, водку, разную закуску и большой букет белых роз. Один из них — тот, который Романов, — рассказал, что ему днем позвонил какой-то охотник и сообщил, что в Лосихе их ждет Виталий. Он остался без машины, зато, кажется, женился. Просил приехать, чтобы отметить это событие.

После этих слов Виталий набросился на Романова с кулаками. Пришлось его скрутить и успокоить, хотя это получилось не сразу.

Оказавшись в городе, Виталий сразу написал заявление в полицию, в котором подробно указал, что с ним произошло. И про косулю, и про то, как оказался в зимовье, и как у него отобрали банковскую карту и под страхом смерти заставили назвать ПИН-код. Ивана объ-

явили в розыск, но найти его не удалось. Ни сразу, по горячим следам, ни позже. Он исчез вместе с миллионом рублей, снятым с карты в два приема, и новеньким внедорожником «Ленд-крузер», который, к несчастью для Виталия, еще не был поставлен на учет в ГИБДД.

Сам Виталий также пытался отыскать Ивана, используя для этого все свои связи. Но и эти попытки оказались безрезультатными. Трудно найти того, о ком почти ничего не известно. УАЗ оказался зарегистрирован на другого человека, которого уже два года не было в живых. Во внешности Ивана не нашлось никаких отличительных черт. Никто его толком не знал. Даже дед Афанасий и его внучка Катерина не смогли рассказать о нем ничего существенного. А может, не захотели. Ну появлялся этот Иван в Лосихе несколько раз, но если и рассказывал о себе, то как-то неопределенно. Мужик да мужик, каких в каждой деревне с десяток наберется. Вроде бы приезжий. Не то из Белоруссии, не то из Казахстана. Пытался ухаживать за Катериной, но, как оказалось, не всерьез. Да и она не питала к нему особой симпатии.

С тех пор прошло несколько лет. Виталий по-прежнему занимается бизнесом и, по слухам, все так же успешно. Только стал еще более недоверчив и осторожен. Автомобиль у него — BMW, легковой седан последней модели. Внедорожник Виталию теперь без надобности — на охоту он уже не ездит. Ни в Лосиху, ни куда-либо еще.

А вот на личном фронте перемен нет: живет один, так и не женился. Даже на Катерине, хоть она и дорого ему обошлась. И вообще о том, что произошло с ним в Лосихе, он старается не вспоминать. Хотя те злополучные спички, опять же по слухам, хранятся у него до сих пор. Сначала, в порыве ярости, он будто бы хотел их выбросить, но не смог. Они ведь тоже стоили ему недешево — все-таки миллион рублей. А разбрасываться деньгами, тем более большими, не в его правилах.

Еще говорят, что без спичек он теперь из дому не выходит. В каждом кармане по коробку — на всякий случай. И еще зажигалка. Наверное, это всего лишь байка. А может, нет. Все, кто с ним знаком, уверяют, это на него похоже.



Сергей САМОЙЛЕНКО

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РАДУГА

* * *

над городом в августе смог и туман
и дым от горящей тайги
поедем на дачу к друзьям в глухомань
рыбалка грибы шашлыки

мы ходим по ягоды в смешанный лес
оценим природный ландшафт
здесь ловится щука а не мтс
и можно без кашля дышать

весь день барражирует жук над прудом
на бреющем мчатся стрижи
животный мир занят полезным трудом
и каждый живет не по лжи

я дров наколю разожгу барбекю
открою мальбек и шираз
считая в уме бесконечность ку-ку
безоблачной жизни для нас

мы будем под кленом сидеть допоздна
отмахиваясь от мошки
читать за четвертой бутылкой вина
на память чужие стишки

картавит ворона грассирует грач
скрипит ввечеру козодой
а за полночь черное небо too much
качается над головой



* * *

киноварь краска дня
охра и хром в палитре
ляпнет знаток мазня
хрен проссышь без поллитры

рощи парча горит
вяз карагач рябина
брякнет эксперт нефрит
яшма янтарь рубины

осень ответил я б
лето добавил бабье
с рябью в глазах сентябрь
пруд покрывает рябью

сыпется сверху вниз
перхоть берез и кленов
ржа пожирает жизнь
ту что была зеленой

дутая листьев медь
лес разодет в лохмотья
каркнет ворона смерть
и не поспоришь вот я

* * *

Нетерпение пассажира ускоряет прибытие поезда.
За окном — по ранжиру елки-палки в пейзаже забористом
со спиралью Бруно и с мичуринской сеткою Рабица.
Вот такое кино, и оно мне не нравится.

Хватит дрыхнуть. Спросонок оглоушивает радио
то ушатом шансона, то душем нечаянной радости.
Кофе, чай, «Доширак», рюмка водки для праздника?
Мне без разницы.

На железке двужильной, протянутой через Евразию,
отпускной и служилый люд не блещет разнообразием:

дембеля, мужики, пьянь да рвань, печки-лавочки.
 Мне до лампочки.

Едут в сторону центра с окраин империи ронины,
 провинциальные целки, похожие на Доронину,
 молодежь, челноки, благородные воры и жулики,
 леди, вахтовики, зомби, жмурики,

тетки в норковых шапках, человекообразные роботы.
 Никого здесь не жалко. Ничего не волнует, не трогает.
 В микрофон упыри рассуждают о будущем родины.
 Закури беломорину.

До кого б докопаться? Валите, кому здесь не нравится.
 Где свобода, где братство, где ваше хваленое равенство?
 Здесь задолго до нас все украдено, продано.
 Пропади оно пропадом.

Здравствуй, раковый корпус, железобетонная радуга!
 То на горку, то с горки, выбиваясь из сил и из графика.
 Это мы. Принимай звездобратию в рай, Богородица.
 Но она не торопится.

* * *

Вспомнишь среди ночи нерешенный ребус:
 написать в трех клетках: «Кукла виновата».
 До утра бормочешь: «Полная нелепость,
 дайте мне таблетку от неадекватата».

Что это за гемор, что это за гадство,
 в чем, скажи на милость, виновата кукла?
 Отцепись, Альцгеймер, отыщись, разгадка!
 «Кукла провинилась» — набираю в Гугле.

Глупая шарада уровня детсада.
 Блинчики на ужин. Пончики на полдник.
 Память, выпей яду без барбитурата.
 Кому это нужно? Зачем это помнить?

Эра манной каши. Царство кукурузы.
Пена газировки типа «Буратино».
Насморк, сопли, кашель. Теплые рейтузы.
Кушай на здоровье! Коклюш и ангина.

Головоломалка для продленной группы.
Главное, не плакать. В угол на сон-часе!
Почему ж так жалко, почему ж так глупо?
Это все неправда, это ли не счастье?

Видишь как в тумане: середина лета,
сахарная вата облаков над Томью.
Мама в сарафане. Папа в сандалетах.
Вот и все, что надо. Вот и все, что помню.



Михаил СТЕКАЧЁВ

ЖЕЛЕЗО — ТОЖЕ НЕПЛОХО

Р а с с к а з

Был июль. В поле не на шутку припекало. Костя стоял на правой ноге, другая его нога свисала с узкого сиденья мотоцикла, немного не дотягиваясь до кикстартера. Он стоял почти не шевелясь, слушая гул пролетающего самолета. Перед ним широкой ровной полосой уносились вдаль темно-серая асфальтированная дорога учебного полигона, где-то вдали сливаясь с дрожащим маревом раскаленного воздуха. Здесь «раскатывались» студенты сельскохозяйственной академии перед получением водительских прав. Порой заезжали сюда окрестные мальчишки — погонять кто на велосипеде, кто на мопеде или мотоцикле. Больше эту дорогу никто особенно не использовал — она, по сути, шла ниоткуда и никуда не вела.

Дорога покоилась на возвышающейся насыпи. По обе стороны ширилось отведенное под сельхозугодья поле, в этот год стоявшее под паром. Над ним поднимался приятный, суховато-пряный соломенный душок. Отовсюду доносилось мерное стрекотание полуденных кузнечиков.

Костины глаза задумчиво вглядывались в глубину ярко-бирюзового неба, расколотого с севера на юг инверсионным следом гражданской «тушки». Убаюканный яркой бирюзой, Костя едва не потерял равновесие, но пришел в себя, ударил ногой по рычажку кикстартера, еще, еще — двигатель затарахтел, пыхнув ядовитым облаком. Мотоцикл тронулся с места, стал набирать скорость.

Самолеты завораживали Костю с четырехлетнего возраста, с тех пор, как мама ему сообщила, что его родной отец — героически погибший летчик гражданской авиации. Случилось это, когда малютка Костя стал приставать к ней с расспросами о папе, которого он никогда не видел, прежде насмотревшись, как сильные дяди гуляют по улице с его детсадовскими друзьями.

Такого эффекта от своего признания Костина мама не ожидала. Вместо привычных для мальчишек машинок и пистолетов Костя раз за разом выбирал в магазине игрушек самолеты: маленькие на вращающихся колесиках, с выползающими при нажатии закрылками, сборные модели гражданских воздушных судов для склейки, планирующие по воздуху при запуске рукой, и даже наклейки и книжки-раскраски Костя выбирал соответствующие. Позже, уже во втором классе школы, он заявил, что хочет, как папа, стать летчиком. Это мечта не оставляла его до двенадцатилетнего возраста, когда врачи сказали, что из-за врожденного порока сердца с авиацией у него ничего не выйдет. Однако Костя свою мечту хоронить не спешил, по-детски надеясь на чудо.

Дружба со сверстниками не особо завязывалась. С единственным близким другом Костя разругался в четырнадцать лет: тот раз за разом старался убедить его, что мечтать о небе ему не стоит и что в училище его никогда не примут из-за болезни...

Костя проехал до конца дороги, странно обрывающейся в чистом поле щебенчатым скатом на другую — проселочную, и двинулся дальше, убегая от пыльного шлейфа, поднятого колесами мотоцикла. Перед ним в арке, образованной двумя рядами тополей, открылся поселок. По аллее, шагая гуськом, медленно плелась пара пожилых дачников — сухопарый мужчина с головой, покрытой старомодной светло-серой кепкой, из-под которой выбивалась прядь седых волос, и следовавшая за ним супруга в бледно-розовом ситцевом сарафане. Немного сутулясь, старик нес на плече блестящую лопату из нержавеющей стали. Старушка переваливалась с боку на бок уточкой, в руках у нее раскачивалось небольшое красное пластмассовое ведро. Проскочив мимо них, Костя вырвался на открытую местность.

Перед ним расстился приземистый жилой массив с редко выглядывающими поверх шиферных голов вторыми и еще реже — третьими этажами частных каменных домиков. Этот район разделяло несколько строгих, хорошо заасфальтированных однополосных дорог, окаймленных густой зеленью лесопосадок. Выбрав одну, Костя проехал несколько сотен метров и остановился возле небольшого уютного домика, облицованного виниловым сайдингом. Здесь Костя жил со своей мамой.

Войдя в дом, он ненадолго замер на пороге — справа от него, на вешалке для верхней одежды, висел добротный кожаный пиджак, источавший густой и резкий технический запах.

От входной двери тянулся небольшой узкий коридорчик, упирившийся дальним концом в широкую дверь кухни. Дверь отворилась, и появилась мама Кости. На ней был кухонный фартук с кармашком по середине. При виде сына мамины глаза суетливо забегали.



— Давай-давай, проходи, мой руки. Где тебя носит? Договорились — к часу приедешь! — почему-то полусшепотом выпалила она, прежде чем вновь скрыться на кухне.

Костя разулся и послушно побрел в ванную мыть руки. На кухне он увидел незнакомого мужчину, сидящего за столом. Взгляд у того был открытый, даже дружелюбный, однако при этом в знакомце чувствовалась твердость. Отчего складывалось такое ощущение — из-за прямой, как по стержню вытянутой, спины или строгих, словно застывших в гипсе, угловатых черт лица, — Костя не знал. Мужчина, ложка за ложкой, зачерпывал прозрачный куриный суп.

— Костя, мой сын, — сказала мама, указав открытой ладонью на Костю, а потом представила гостя: — А это Юрий Александрович. Он...

— Да просто Юра, — неожиданно перебил тот. — Лен, не томи малого — он есть хочет, сразу видно. Давай, Костя, садись! — Он придвинул свободный табурет поближе к себе и к маленькому квадратному столу. — Тут мать такой вкусный суп сготовила! Мастерница она у тебя... — И улыбнулся скупю, но искренне.

Костя, помедлив, без энтузиазма, сел на приготовленный для него табурет.

— Юрий недавно с Дальнего Востока прилетел. Бывший военный. Моряк! — застенчиво улыбнувшись, с какой-то причастной гордостью сказала мама, наливая в чистую тарелку суп.

— Бывших — не бывает, — беззлобно высказался Юрий. — Душа у меня, знаешь ли, Леночка, морская, — продолжил он, расправив плечи и выпрямившись.

Черты его оживились, глаза заблестели, а рот растекся в мечтательной улыбке:

— Сынок, ты когда-нибудь видел море?

— Я вам не сынок, — покоробленный таким обращением, строго ответил Костя.

— Да не были мы на море, когда уж нам! — проворно встряла мама в попытке сгладить неловкость, возникшую между гостем и сыном. — Никуда мы с ним в жизни не выезжали. Я-то вон когда последний раз в отпуске была? — Она кивнула куда-то в сторону окна, за которым виднелся поселок. — Разве выберешься... До Кости-то было время, я и в Ялту, и в Алушту ездила, и на катерах плавала...

— Суда не плавают, женщина. Суда — ходят. А то, что плавает, о том за столом не говорят, — бодро выразился Юрий, не прекращая открыто улыбаться. Потом, вдруг осунувшись, продолжил: — Я морю жизнь посвятил. Оно мне точно до самой смерти сниться будет. А тут у вас Черное — не дальний свет, всегда выбраться можно.

Он в задумчивости стал мешать ложкой почти остывший суп. За столом повисло молчание.



— Жаль, Константин, что ты моря не видел, — вновь начал Юрий, — есть в нем правда, покой. Ведь в покое-то правда и прячется.

Костя взял кусок хлеба из плошки в середине стола и теперь смотрел на жиринки в тарелке с супом, тем самым показывая, что нет ему дела ни до моря, ни до кораблей, ни до странного мужчины, вдруг решившего пооткровенничать с первым встречным.

Тут вновь встряла мама.

— У нас тут самолеты. Костя самолетами увлекается, — сказала она. — Сынок, покажи гостю свою комнату! У Кости такая коллекция самолетов, ты бы, Юр, видел...

Костя рассвирепел:

— Ма-ма-а-а, не лезь не в свое дело!

— Ты как с матерью разговариваешь?! — неожиданно вмешался гость. У него на скулах заиграли желваки.

— А вы мне не отец, — ответил Костя, немного сбавив тон. — Учить меня будете...

— Это уж точно! — пробурчал Юрий. — Со мной ты бы с матерью так не общался.

Наступила тишина, от которой маме явно стало как-то неуютно.

— Костя, а ты знаешь, у Юрия к тебе предложение, — сказала она и посмотрела на гостя выжидающе.

— А, да... У тебя сейчас каникулы, — нехотя среагировал Юрий. — А у меня мастерская — машины ремонтирую. Ты бы мог помочь.

— Неинтересно, — с холодной ответил Костя.

Гость покачал головой.

— Я тебе работу предлагаю, — твердо, немного повысив голос, сказал он. — Денег заработаешь, да и посмотрим, что там с твоим мотоциклом. Мать говорит, ты что-то менять там собрался, — он добавил в свой голос доверительные нотки. — Давай — и подзаработаешь, и, глядишь, научишься чему...

— Сколько?

— Что — сколько?

— Заработаю я сколько?

— Хм... Ну пусть будет — сто рублей в час. Годится? — Гость выжидательно посмотрел на Костю. — Но в день ты там больше чем на пять-шесть часов не нужен. А то и меньше.

— Заметано! — резко выпалил Костя.

— Только предупреждаю, работаем мы очень энергично и на совесть! Так-то вот! — строго подытожил Юрий.

Костя легко кивнул, не глядя ему в глаза, затем куском хлеба подтер со дна тарелки остатки супа, поставил тарелку в кухонную раковину и вышел.



Утром Костя вышел рано, чтобы в восемь, как условились, появиться в мастерской нового знакомого — отставного моряка. Одет он был в старые джинсы, когда-то надежно заляпанную мазутом рубашку и кеды, которые сразу немного промокли от утренней росы. Мастерская находилась в километре от Костиного дома, в гаражном кооперативе. Для ее устройства Юрий выкупил два смежных гаража, на его удачу выставленных на продажу почти одновременно.

Моряк стоял на улице у открытых гаражных ворот. В его руках дымилась сигарета без фильтра.

— Все путем, только с обувкой-то ты лиха дал, — сказал он, увидев Костю, вывернувшего из-за угла. — Мы здесь с железом работаем, зацепишь чем — и пропадут твои кеды. Или вон искра сварочная попадет...

Он затянулся дотлевающим сигаретным окурком, бросил его под ноги, растер, одновременно помахивая рукой из-за легкого ожога.

— Ты вот что... — Он прошел в дальний угол гаража, поковырялся в какой-то куче ветоши, пока не откопал старые, но добротные черные ботинки из деbeatой кожи. — Примерь, должны подойти. Давай-давай, без разговоров! — настойчиво сказал он, видя, что Костя принимает обувь из его рук без охоты. — Мне работник нужен, а не инвалид.

На этот раз Костя подчинился и сел на старую, всю в каких-то въевшихся черных пятнах софу, чтобы переобуться.

Прямо напротив софы, у дальней стены, лежали листы плотной сортовой стали, в углу стоял высокий синий газовый баллон. Слева от Кости компактно располагался небольшой квадратный обеденный столик: о его назначении говорил натюрморт из лукавицы, трех яиц в скорлупе и куска черного хлеба, прикрытых целлофаном. К столу примыкал один-единственный стул. В углу пристроились две бамбуковые удочки — по виду совсем новые.

— Ну, сынок...

— Я вам не сынок, — с раздражением оборвал Костя.

— Ну-ну, хорошо, я и забыл. Кон-стан-тин! — четко, по слогам, выговорил Юрий и с доброй иронией выпятил грудь.

— Можно просто — Костя.

— Словом, просто Костя, солнце уже высоко, давай приниматься за работу.

Хозяин мастерской озабоченным взглядом осмотрел стоящий перед ним верстак, а потом повел Костю в соседний гараж, где, высоко поднятая на домкраты, стояла какая-то старая модель BMW темно-синего цвета. Под ней в полу, уводя в погреб, тянулась оборудованная для слесарных работ яма.

— Так, чем мы с тобой сегодня займемся?.. — забубнил Юрий себе под нос. — Чем займем... А вот чем! — Он приветливо посмотрел на Костю и игриво проговорил по слогам, не обращая внимания на то, что тот совсем не заражается его рабочим задором: — Сегодня будем латать лон-же-рон! Давай-ка перенесем сюда лист стали. Он нам понадобится.

Юрий стал спереди, Костя, поняв, что от него требуется, — с другой стороны стального листа, и они его перенесли в соседнее помещение. Юрий, бурча под нос что-то о размерах, открыл заложённую закладкой страницу в заляпанном черными пятнами блокноте. Затем он протянул шланг с газовой горелкой, настроил ацетилен, кислород, надел защитные очки и начал аккуратно разрезать стальной лист по намеченной риске.

Костя смотрел, как прожорливая синяя плазма расправляется со сталью. Было в этом что-то захватывающее, даже чарующее. Несколько раз он ловил себя на том, что не прочь попробовать себя в сварке, но голос глубоко внутри твердил, что это земное ремесло ни в какое сравнение не идет с воздухоплаванием и что нет в нем ничего такого, к чему можно привязаться душой. И Костя сторонился этой привязанности, будто она могла лишить его предназначения, умалить его самого рядом с гордой памятью отца-героя. И пусть все врачи поставили на нем крест — должно произойти чудо! В этом Костя не сомневался.

— Что там с твоим мотоциклом? — Юрий вдруг вспомнил вчерашний разговор. — Давай посмотрим.

— Ничего, сам разберусь, — ответил Костя, немного раздражённый тем, что его вырвали из размышлений.

— Сам так сам. Упрашивать не буду, — твердо, но без раздражения сказал Юрий.

Прошло несколько часов. За это время они еще дважды переносили стальные листы. Все остальное время Костя был занят лишь тем, что придерживал то стамеской, то гвоздодером, то еще каким-то подручным инструментом места сварки.

— Хочешь поучиться? — спросил однажды Юрий, подняв на уровень глаз горелку.

— Нет, спасибо! — как всегда скупно ответил Костя, поборов искушение попробовать себя в новом деле.

— Для мужчины это хороший навык, пригодится, — не отставал Юрий. — Всегда прокормишься. Сколько тебе, шестнадцать? Скоро из школы выпустишься — тогда уж будешь сам зараба...

— Нет, спасибо! — повторил Костя, возвысив голос и уже не пытаясь скрыть раздражение.

Юрий равнодушно пожал плечами:

— Как хочешь.

Неожиданно в двери заглянула Костина мама:

— Бог в помощь, мои труженики! Проголодались?

Она сняла с плеча самодельную холщовую сумку и вынула из нее фаршированные блинчики:

— Налетайте!

Затем ее взгляд упал на стоящие в углу удочки.

— Сегодня идешь? — со странным восторгом обратилась она к Юрию.

— Сегодня, Лен, — ответил моряк с хитрым прищуром. — Вот и Константина подтянуть собирался... — Посмотрев на парня, он с сомнением в голосе добавил: — Если захочет.

— Ой, захочет, куда же он денется! — оживилась мама. — Он же отродясь на рыбалке не был — ни с мальчишками, никак.

— Ну так когда-то ж надо начинать, — подмигнул Юрий. — Тут тебе такая радость откроется! — продолжил он, задумчиво мотая головой. — Я прям тебе завидую. Свою первую рыбалку помню, как сейчас. Тогда у нас во Владике...

Он все говорил, а Костя его не слушал, вернувшись мыслями к одинокому полигону, над которым невидимо пролегают воздушные пути. Но странный дальневосточный пришелец постепенно, раздражающе, как надоедливая муха, занимал место в его мозгу. Почему это новый человек, такой непривычный для их маленькой сельской жизни, вдруг начинает быть таким интересным?

— Ну так что, Кон-стан-тин, нравится тебе мое предложение? — заключил свой восторженный спич Юрий, отвлекая подростка от мыслей. — Порыбачим сегодня?

— Это вряд ли, — сухо ответил Костя.

* * *

Форточка в Костиной комнате была открыта, через нее врвался свежий ветерок, доносились раскаты грома.

В дверь постучалась мама:

— Костя-а-а! — позвала она нараспев. — Будет до-о-ждь, возьми дождеви-и-ик и сапоги-и-и.

— За каким чертом мне дождевик? Мне и дома неплохо...

Дверь, теперь уже без предупреждения, отворилась, за ней показалось недоуменное лицо матери:

— Ты забыл, наверное? Вы с Юрием на рыбалку собирались.

— Я никуда не собирался.

— Ну-у-у Костенька! — вновь затянула она. — Некраси-и-иво. Человек рассчи-и-итывает...

— Ну и пусть рассчитывает. Я никуда не хочу идти, мокнуть...

— У ты какой нежный стал! Пряма подменили его. Каждый день то мокрый, то грязный — застиралась уже. А тут он намокнуть боится! Нет уж, сходи-и-и, ува-а-ажь человека...

— Мам, а ты зачем стараешься — без меня не ходит?

— Ты ж на рыбалке никогда не был. Сходи-и-и, хоть рыбешку пойма-а-ай, уху сделаю.

— Мам, у меня деньги есть. Тебе рыбу купить?

— А тебе лишь бы потратиться! Химозу какую-нибудь купишь.

— Не хо-чу!

Мама рассердилась:

— Ну и сиди со своими дурацкими самолетами! Ни о чем тебя не попросишь — только мотоцикл и самолеты, самолеты и мотоцикл!

— Ты забыла? Тебе на огороде помогаю.

— Помогает... Все из-под палки. — Она вскинула руки. — Ты бугай здоровый! На себя давно бы огород взял. А ты — «помогаю»... Ни до чего тебе дела нет. Даже рыбку поймать не хочешь. Заработал раз в жизни...

— А может, не в рыбке дело?

— Не в рыбке... — повторила она машинально. — А в чем? Не в рыбке...

— Да в хахале твоём, мам, а?

— Что-о-о?! — Лицо мамы вмиг побагровело. — Что ты сказал?

— Да все ты слышала! Хочешь, чтобы я папочку нового принял.

Вот он меня уже «сынком» называет.

— Ты как... как ты смеешь... ты...

— Ага, пусть новый папочка мне ремешка всыплет...

Лицо мамы задрожало, заблестели повлажневшие глаза:

— Я всю жизнь только для тебя все делала! Я о себе забыла!

— Забыла, да не забыла.

— Что? Да как ты смеешь, свинья неблагодарная! Как ты сме-е-ешь! — Она вся затряслась, слезы побежали из глаз.

Затрясся и Костя. Он видел состояние матери, и в глубине души ему было не по себе оттого, что он ее так сильно расстроил. В то же время обида зыбко шептала в нем — обманутом, преданном. Но вина давила все тверже, неотвратимей. И, боясь остаться с этой виной наедине, он убеждал себя в том, что жертва здесь не мать, а он.

— Ты про папу хоть когда-нибудь вообще вспоминаешь?

— Вспомина-а-аю, — ответила мама, вдруг притихнув.

— Я тебе не верю! Ты мне никогда о нем ничего не рассказывала, даже фотки не показала. Ты думаешь, я верю, что все фотки потерялись? Я уже не маленький, мама. Теперь не прокатит.

— Я все помню, Константин!



— Помнит она... Ага! Забыла ты отца. А он герой был, не то что этот твой...

Мама вдруг посмотрела на Костю холодными глазами, набухшими и покрасневшими от слез.

— Не был он героем, Костенька, — сказала она буднично. — И летчиком не был. Та-а-ак, — протянула с каким-то тихим и почти неуловимым презрением, — обычный пустозвон-сантехник, мастер по ушам ездить.

Костя заиграл желваками.

— Замолчи, мама, не смей! — прошипел он.

— Ему нравилось жить легко. Мы даже не были женаты.

— Не смей, не сме-е-ей!

— Когда я забеременела тобой, он предложил мне сделать аборт — убить тебя, — она говорила это с каменным выражением, совсем не обращая внимания на сына.

После этих слов Костя замер, словно каждая его клетка отказалась подчиняться.

— Что ж ты такое говоришь, мам? Что ты несешь?!

Внутри у него спорили двое. Один отказывался верить словам матери, другой — беспощадный предатель — говорил, что это правда.

— Неправда, это неправда... — пробормотал Костя сдавленным голосом. — Зачем ты это говоришь, мама? Это все неправда!

— И вот он исчез, как сквозь землю провалился. А я вся на нервах! И ты тогда в животе у меня перевернулся... В результате — неправильное предлежание. Оттого и недуг твой.

Закончив свой рассказ, мама посмотрела на Костю со смешанным выражением жалости и надменности победителя. Наконец, не выдержав вида сына, восседавшего на стуле прямо, как будто по стойке смирно, но с обреченным и пустым взглядом, явно совершенно раздавленного ее признанием, она вышла из комнаты.

По оконному карнизу забарабанил дождь. Он усиливался, превращаясь в ливень. По стеклу потянулись прозрачные ветвистые узоры, пряча пышные тополиные кроны. И дорогу, по которой каждый день ездил Костя, и даже след пролетевшего в небе самолета скрыла бесформенная и непроглядная светло-серая пелена.

Бог весть сколько времени Костя просидел опустошенный. Наконец, словно пробудившись, он встал со стула и, немного повертев головой, словно спросонья, стал один за другим разглядывать свои самолеты.

Он дотянулся до недавно собранной модели SJ-100, повертел ее, разглядывая со всех сторон, будто не узнавая, и медленно сжал в руках. Раздался хруст — надломилось крыло... другое... фюзеляж... На лице Кости не дрогнул ни один мускул. Вновь и вновь он сжимал и раз-

жимал руки, пока «суперджет» не превратился в труху. Потом пустой взгляд подростка упал на «Боинг-747» — хрустнул и его бело-голубой корпус. Одну за другой Костя уничтожал хрупкие модели, а когда их не осталось, лицо его вдруг задрожало — и он зарыдал. Разом потеряв остаток сил, он завалился на кровать и вскоре, глухо всхлипывая, уснул.

Проснулся Костя от осторожного стука в дверь его комнаты. Стучала мама.

— Костенька... — сказала она несмело, чувствуя неловкость после тяжелого разговора с сыном. — Тут Юрий пришел. Выйдешь, нет?

Костя оторвал голову от подушки. Перед ним была совсем новая комната — новый пустой потолок, книжный шкаф — с книгами, чьи названия вдруг заговорили, новое окно — с редким и звонким постуком капель прекращающегося дождя. И даже слова мамы прозвучали как-то особенно — по-новому.

— Да, я сейчас выйду, мам, — ответил Костя, удивляясь зародившейся внутри легкости.

В прихожей его ждал Юрий. На моряке был защитного цвета дождевик и кирзовые сапоги, с плеча свисала брезентовая сумка. В руках он держал знакомые бамбуковые удочки из мастерской. Костя наткнулся на вопрошающий взгляд матери, которая протягивала ему непромокаемую болоньевую куртку.

— Здорово, Костя! — поприветствовал его Юрий. — Давай собирайся — сейчас, после дождя, самый клев пойдет. Червей я накопал.

Костя послушно принял протянутую мамой куртку. Затем, на миг потерявшись, он положил одежду на табуретку, стоящую в прихожей с начала времен, и вернулся в свою комнату, на ходу крикнув:

— Одну минуту, дядь Юр!.. Минуту...

Маме показалось хорошим знаком такое обращение сына к моряку, и она улыбнулась. Улыбнулся и Юрий.

Прошло немного времени, и из комнаты показался Костя. В руках у него был доверху набитый непрозрачный мусорный пакет.

— Я готов! — сообщил он.

Они вышли на улицу, и на Костю со всех сторон накатили звуки, запахи, краски — такие живые, какие и представить себе было трудно. Мягкий и словно мокрый запах озона, казалось, можно было смаковать на языке. Зыбкий ветерок с востока приятно охлаждал Костины влажные лоб и шею. Полноводная лужа, до краев наполнившая уродливую впадину — след от протектора КамАЗа возле палисадника Костиного дома, пахла влажной пылью. А надо всем этим со всех сторон слышалось, как поют соловьи. Костя так отвык замечать эти запахи и звуки, что все ему казалось чем-то сказочным. Он, вероятно, впервые за долгие годы мог ни о чем не думать, успокоить свой ум, и теперь его

настигла такая одурманивающая легкость, о возможности которой он даже не подозревал. Все его желания, обиды, планы растворились в этом воздухе, в небе, на котором показалась радуга, в деревьях, роняющих влагу при малейшем колыхании.

Костя кивком головы указал Юрию на мусорный контейнер через дорогу. Приподняв мешок, он высыпал в контейнер весь свой модельный авиапарк.

— Не жалко? — спросил моряк, немного удивленный этой картиной.

— Не особо, — ответил Костя. — Парочку я все-таки сохранил.

Речка, куда шли Юрий с Костей, пробежала за небольшим пролеском. Они долго двигались молча. Наконец Юрий нарушил тишину:

— Самолеты? Хм! По-моему, это здорово!

— Железо — тоже неплохо, — улыбнулся Костя.



Екатерина МАЛОФЕЕВА

НАВЫК БЫТИЯ

* * *

в приемном жарко, тикают часы,
на стенах — аллергическая сыпь
потеков краски, и на убыль ночь,
не ново, закольцовано кино,
невыносимо тянет
поясницу,

и кафель сбит, и рукомойник ржав
о хватит боже умножая умножать все длится боль и тикают часы
и сыро у окна и не спешит мой сын в холодный спящий мир скорей
родиться

за что ты так со мной за что же ты накатывают волны дурноты
мелькает лампа в перекрестьях лестниц боль неотступна
не-стер-пи-мый вес
внутри меня

да будет человек.

три триста,
пятьдесят
и девять/десять.

* * *

и солнечная светлая палата,
 и долгая беспомощная ночь,
 молочный запах мокрого халата,
 я первый раз сказала слово «дочь»
 и удивилась новой перемене
 и легкости свершившейся судьбы.
 а май плескал черемухой весенней
 в проемы окон нежно-голубых.

* * *

мама учила масло прокипятить:
 ставь «винегретное» на паровую баню.
 падают ватные шарики из горсти,
 голову кружит в бессонном ночном дурмане.

стопкой — пленки с зайцами на столе,
 и медсестра участковая ворковала:
 «пахнет салатиком маленький водолей», —
 кутая ножки в колючее одеяло.

запах нагретой байки в окно плывет,
 гнездышко комнаты гасит чужие звуки.
 сыну приснилось, что кто-то его зовет —
 вскрикнул тревожно и, вздрогнув, раскинул руки.

* * *

не спать, ловить прерывистые вдохи
 и чутко слушать каждое движение,
 а поутру в домашней суматохе
 не пропустить, как он все совершеннее

оттачивает навык бытия, осваиваясь в жизненном пространстве,
 то тихую улыбкой просияв, то выпевая в небо ассонансы.

* * *

разноцветная клумба колясок
у ступеней районной больницы.
тишина и дремота сон-часа,
но не дремлет в нем и не спится.
и прохладой больничного парка
веет март из открытой фрамуги.
иванова из третьей, бунтарка,
на мятеж подбивает подругу —
убежать втихаря до обхода
к отказным на часок незаконно.

свет оконный и вполоборота —
силуэт подмосковной мадонны,
свое счастье обретшей безгрешно.
убаюкивая, окуная
одинокую в чуткую нежность,
тихо шепчет:
«родная.
родная...»



Дмитрий НИКОЛОВ

ЦВЕТОЧНЫЙ ДЬЯВОЛ

Р а с с к а з

Я не помню, где познакомился с Алей. Кажется, на каком-то сайте, посвященном фантастике. Там обменялись аськами, потом уже телефонами — и закрутилась наша коротенькая симпатия.

Но я прекрасно помню, как познакомился с Жоржиком.

Вы обращали когда-нибудь внимание на то, как мужчины носят цветы? Задержитесь как-нибудь у цветочного ларька, понаблюдайте — очень занятная выходит статистика. Одни прижимают букет к груди, как ребенка, комкая оберточную бумагу. Другие держат руки немного на расстоянии — так обычно несут цветы на торжественных мероприятиях, прежде чем возложить, например, к мемориалу. Третьи суют под мышку, как банный веник. Четвертые заботливо переворачивают букет бутонами вниз — чтобы не растрепались...

Я же, молодой бунтарь, одним своим видом попирающий условности «взрослого» мира, сжимал тогда пучок ромашковых ножек, помахивая белой гривой в желтых перепелиных желтках, отчего с той едва ли не на каждом шагу облетали лепестки. Это был первый или второй курс университета, точнее теперь и не вспомнить; с тех пор память наросла, как нарастает ноготь, потеряв прежнюю пластичность.

Любови у меня тогда приключались часто, но длились обычно не слишком долго. Это не мешало мне быть идеалистом и считать, что каждая женщина, пусть наши отношения с ней не зашли дальше прогулки по утопающему в тених центральному парку, заслуживает быть единственной. А значит — не годится всем дарить одни и те же цветы, посвящать одну и ту же песню и так далее. Первой возлюбленной я подарил сорванную с куста сирень, второй, поднакопив денег, — розы, третьей — предположим, пионы или астры... что тогда продавали в цветочных ларьках?

Для Али я приготовил ромашки.

Итак, размахивая букетом, я вошел в прямоугольник двора, образованный хрущевскими пятиэтажками. Мы договорились встретиться у ее подъезда. Я беспокоился тогда, кажется, о том, что она захочет посмотреть на меня из окна и в случае чего решит не выходить. В свою очередь, сам я размышлял, окажется ли Аля похожа на присланное мне фото. Занятый этими мыслями, я не успел заметить Жоржика. Маленькая тень проворно шмыгнула ко мне из ближайших кустов и вцепилась в цветы, которыми я так легкомысленно помахивал. Я потянул их на себя, чем только усугубил дело: букет рассыпался и нападавший покончил с ним в считанные секунды.

Тогда я не умел еще злиться и закипать в одно мгновение, мне стало почти до слез жалко красивого букета и еще немного — денег. Я смотрел на толстомордого бульдога, который сидел на ромашковой подстилке с совершенно равнодушным видом, не проявляя лично ко мне никакой агрессии.

— Жоржик! Опять?!

Я обернулся и увидел Алю. Она была очень похожа на свое фото.

— Плохой пес! Очень плохой! — Она погрозила Жоржику указательным пальчиком и повернулась ко мне. — Простите... Артем?

Артем — это я. Читая по лицу Али, как в голове у нее выстраиваются логические цепочки и она понимает, что цветы предназначались именно ей, я веселел с каждой секундой. Наконец, отпричитав положенное, она рассмеялась звонким, радостным смехом. И я тоже засмеялся.

Так обычно в книгах и кино начинаются истории большой любви. Счастливая, навсегда запоминающаяся встреча, сближение, препятствие, преодоление, хеппи-энд. В жизни, конечно, все наоборот: чем тише — тем надежней. Что бы это ни значило.

Мы встречались с Алей с месяц или около того. Целомудренно гуляли с ней все по тому же парку — он был в городе один, для каждой пассии отдельного не напасешься, — ели мороженое или сладкую вату. Тогда развлечений было не так много. Общей страсти к фантастике оказалось недостаточно, и вскоре мы по обоюдному согласию расторгли наш недолгий союз. Но одна ниточка связала нас на долгие годы, и ею стал — парадоксально! — Жоржик. У этой ниточки было вполне физическое воплощение: я сплел для пса хороший кожаный поводок.

Время от времени, неся букеты своим возлюбленным, любовницам и, наконец, жене, я вспоминал о Цветочном Дьяволе, как прозвал тогда бульдога, и непроизвольно поднимал повыше цветы, которым ничего не угрожало. По возвращении домой, одарив свою женщину, накормив ее и уложив спать, я писал короткое сообщение Але. Как

дела, как Жоржик, сколько еще ромашек прибавилось на его фюзеляже, не нужен ли новый поводок? И она отчитывалась: столько-то и столько-то, не нужен, спасибо.

Доставалось, конечно, не только Алиным ухажерам, но и обычным зазевавшимся прохожим. Самых слабохарактерных пес брал испугом — загонял лаем в угол и изводил до тех пор, пока хозяин букета не терял бдительность. Мне, который всю жизнь подрабатывал домашним психологом у своих знакомых, раскрыть секрет нелюбви Жоржика к цветам так и не удалось. На грядках или в горшках они его практически не интересовали. Разве что в качестве объекта, который можно пометить. Но стоило показать псу букет, как он буквально сходил с ума. Я подозревал детскую травму, связанную с цветочным насилием, но подтвердить мою догадку Аля не могла. Так и осталась эта тайна со мной на много лет.

Не знаю, отпугивал всех ее мужчин Жоржик или Аля сама оказалась не создана для долгих отношений, но она почти всегда была одна. И, наверное, поэтому всегда переживала за чужие отношения — например, за мои. Может быть, она чувствовала вину за то, что так и не смогла полюбить меня как полагается? Впрочем, и сам я взял привычку не то чтобы изливать ей душу, скорее — ставить ее в известность о своих любовях. Так и так, мол, еще одна сорвалась. Она в ответ писала несколько общих утешительных слов, и все. Наверное, наша переписка со стороны выглядела очень странно. Но кто сказал, что всех людей должны связывать серьезные узы дружбы до последней капли крови или любви до гроба? Нам с Алей, чтобы не потерять друг друга из виду, хватало Жоржика и моих личных брейкапов. Она, вернее они с Жоржилом, были одной из ниточек, соединявших меня с моей канувшей юностью, такой постоянной в потоке переменных, которыми оживало меня утекающее время.

Нужно ли говорить, что все мои женщины Алю недолюбливали? Не потому, что было за что, а именно потому, что никаких формальных причин для этого не было. Где-то в эту же секунду кто-то другой наверняка пишет-повторяет фразу: «Люди боятся того, чего не понимают». Зачем изобретать велосипед, если можно применить этот всеобъемлющий логический дискриминант? Так вот. Не любили Алю по-разному. Кто-то — тихо, холодно и осторожно, кто-то — с претензиями, упреками и шантажом. «Выбирай!» — говорили они, и некоторые на самом деле не блефовали. Может быть, дело было совсем в другом — мало ли люди доставляют друг другу неудобств в совместной жизни? — и Аля становилась удачным предлогом, последней каплей, хотя общались мы с ней раз в полгода-год, исключительно онлайн.

Особенно радовали меня фотографии Жоржика, которые время от времени я находил в Алиных соцсетях; тот, казалось, не менялся с мо-

мента нашей встречи — такая же довольная, бестолковая приплюснутая мордаха, короткое мускулистое туловище и игривый хвостик. А вот Аля постарела. Женщины в России вообще быстро стареют. Нет, еще далеко было до седых прядей и глубоких морщин, но она потемнела, как темнеет столовое серебро, если его не чистить. Алю чистить было некому. Я же, глядя в зеркало, казался себе таким же, как был десять или пятнадцать лет назад, неувядающим бодрячком вроде Жоржика. Человеком, у которого вся жизнь впереди. И странно — не находил между этими двумя фактами никакого противоречия.

Не знаю, сколько длилась бы эта странная связь, как я объяснял бы гипотетическим детям, которых так хотела жена, а я откладывал до лучших времен, кто такая тетька Аля и почему у нас нет своей собаки, но папа при этом любит какого-то Жоржика. Узнать не пришлось. Однажды вечером я открыл почту и увидел письмо от Али, точнее — рассылку с ее адреса. Видимо, тот, кто разбирал контакты, счел нашу многолетнюю переписку свидетельством близкой дружбы.

— И ты собираешься идти? — Люся подняла на меня глаза. — Ты ведь не знаешь там никого.

— Знаю. Жоржика.

— Серьезно? Это же просто собака, которая однажды погрызла твой букет!

— Каждый день я вынужденно общаюсь с куда менее приятными личностями.

— Иди. — Люся устало, но беззлобно махнула рукой.

И я пошел.

Алю глазами я не искал. И так знал, что она лежит в ящике, поставленном на два табурета. Для того чтобы в этом убедиться, мне не нужно было на нее смотреть. Я нес букет ромашек, но теперь осторожно, прижав в груди, и все ждал, что из-за частокола ног вот-вот выскочит воодушевленный Жоржик. Но его не было. Ходили скучающие, для приличия печальные люди, которых я никогда не видел не только вживую, но даже на фотографиях рядом с Алей.

Я обогнул толпу у гроба и тогда увидел Жоржика. Маленький растерянный дьявол сидел в изголовье между двух венков из искусственных цветов, не обращая внимания на другие букеты, сложенные горкой на лавке или баюкаемые гостями. Я подошел прямо к нему и, присев рядом, потрепал складочку на загривке. К ошейнику был подцеплен сделанный мной много лет назад поводок, только порядком поистершийся. Ромашки почти коснулись морды пса, но тот и ухом не повел. Может быть, своей маленькой собачьей головкой он все-таки догадался о случившемся? Или просто был оглушен обилием цветов — искусственных и живых?

Я так и сидел рядом с Жоржиком, пока не затекли ноги; кроме меня, пес не был интересен никому. Потом положил свой букет к другим цветам, отвязал от ножки табурета поводок и пошел с Жоржиком по двору. Пес гулял без особой охоты, лениво нюхал кусты и почти ничего не метил. С дальнего края двора мы наблюдали, как все внезапно засобирались, погрузили гроб, попрыгали в автобус и уехали. О Жоржике никто не вспомнил. Что уж говорить обо мне.

Мы не спеша вернулись к подъезду. Я, хрустнув коленками, сел на лавку, пес тяжело опустился у моей ноги. Сколько лет прошло? Двор почти не изменился. Те же густые кусты, те же бордюры в облупившейся побелке, лепестки, так же лежащие на асфальте у подъезда... Но изменились мы с Жоржиком, я почувствовал это неожиданно и остро.

— Жоржик!

Мы с псом обернулись. На тротуаре стоял мужчина средних лет, прижимая к груди букет роз.

— Я опоздал, думал, уже никого не застану... — продолжил он.

— Вы дружили с Алей? — спросил я скорее из вежливости.

— Дружил?.. Пожалуй, что дружил, хотя... Это может показаться странным...

— О, у нас тут достаточно странная компания!

Я посмотрел на него с интересом: неужели собрат по несчастью? И неожиданно для себя добавил:

— Вы пьете?

— Если выпьем, вы больше не будете мне выкать? — улыбнулся незнакомец. — Меня Геной зовут.

— Не буду. Я Артем. Цветы, наверное, лучше оставить здесь.

— Оставляю, только Жоржика отведи подальше. — Гена проверял меня, так военные самолеты распознают сигнал «свой-чужой».

— Мне кажется, он больше не любит цветы.

Гена подошел и положил на лавку букет. Пес понюхал свою лапу.

— Удивительно.

— Не говори.

Мы пили долго, постепенно напиваясь вдрызг. Жоржик терпеливо сидел под столиком. Алю мы оба знали одинаково плохо и совершенно по-разному. Гена не любил фантастику, но ходил вместе с ней на бальные танцы и видел только один из маленьких кусочков пазла, из которых состоял ее мир. Я знал другой, но, даже соединив их, мы не смогли бы понять всей картины. Связывал нас только Жоржик с его странной привычкой.

— Цветочный Дьявол — отличное прозвище! Думал, это сама Аля так его прозвала. — Гена не то держал стол, чтобы тот не опрокинулся, не то боялся опрокинуться сам.

— Тебя он тоже крестил?

— Спрашиваешь! Но я сражался — во! — Гена продемонстрировал шрам на указательном пальце.

— Силен.

— Ага, — кивнул Гена, но, как сильно пьяный человек, экспрессивнее, чем нужно. Голова упала на грудь, и поднял он ее обратно с видимым усилием. — Слушай, Артем... Отдай его мне?

— Только чтобы раз и навсегда. И ты пообещаешь, что я смогу приехать, если что. И это... фотки будешь присылать.

— Тёма, ты мировой чувак! — Глаза Гены блеснули влагой, он задумался. — Нет. Это будет нечестно. Вы дольше знакомы с Жоржиком, тебе и забирать его.

— Не согласен, — пробормотал я и размашисто погрозил собеседнику пальцем.

— Тогда давай на «цзефа»*...

— Не дело живую душу на «цзефа»...

— Тонкий ты человек, понимающий...

Скопившаяся в глазах у Гены влага уже текла по щекам. И я заплакал следом. Так мы и рыдали, склонившись друг к другу через стол. Не уверен, что мы думали тогда о Жоржике. И даже не об Але, наверное. О себе. Каждый — о себе. О том, что мы могли умереть, но остаемся жить. Пока что. А потом, в один момент...

Дорогой домой я впал в беспамятство. Кажется, напугал сумасшедшей улыбкой какую-то тетку, что таращилась на меня, сжимавшего в руках поводок, в пустом вагоне метро. В подъезде — стены помогали — память начала возвращаться. Я с трудом вскарабкался на четвертый этаж и, со второго раза попав ключом в скважину, принялся шумно и неловко раздеваться в темной прихожей.

— А пса где потерял? — В комнате вспыхнул свет, в его ореоле в дверном проеме стояла Люся.

— Какой пес, Люсь? Детей делать надо, а ты о собаках.

Люся с заметным облегчением рассмеялась.

— Повыветрись сперва, а там поговорим, — сказала она и исчезла, щелкнув выключателем.

Я набросил на вешалку поводок, который забрал на память, пообещав сделать для Гены и Жоржика новый. А после, пошатываясь, пошел в спальню.

* «Цзефа» — присказка при игре «камень, ножницы, бумага». Здесь — как предложение бросить жребий.

Денис ПОПОВ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ...

* * *

Точно много лет назад,
ведрами
из колодца воду в дом
маленький
я ношу, когда снега —
ордами.
Я ношу, когда цветок —
аленький.

Все проходит! Ничего
нового:
тут — в дерьме, а там — в меду
улицы.
Но у Севера — отца
строного —
корни крепкие и не
рубятся.

Знаю: горькие церквей
луковки.
Знаю: узкая в снегу
тропочка.
Станет жарко — расстегну
пуговицы.
Станет зябко — покурю
в топочку.



Все проходит! Ничего
нового.
Снова щеки у Христа
впалые.
Я цветы тому, кто мне
дорог был,
на могилку положу
алые...

Солнце плещется в ведре
рыбкою.
Загоржусь уловом как
маленький.
И качается земля
зыбкою.
И о валенок стучу
валенком.

Обходчик

Белый снег на черном фоне
Неба — точно хлеб и соль.
Из слепой выходят зоны
На фонарь, как на пароль,

Дерева в жилетках рыжих.
Вдоль путей идут ко мне.
Я спрошу, когда поближе
Подойдут: «Цигарки нет?»

Не услышу я ответа,
Но качнутся ветви ив,
Преломив собой луч света,
Хлеб со мною преломив.

* * *

Ни с того ни с сего поутру
я, себя не стесняясь, заплакал.
Может, ангел провел по нутру,
словно ветер по стенам барака,

вдруг ладонью.
 Иль что там у них
 вместо рук, у посланников Божьих?..
 Ни похмелья, ни мыслей дурных,
 как проснулся, не чувствовал кожей.

Но заплакал...
 И, глядя на свет
 сквозь окно, улыбался кому-то.
 Точно видел во сне: смерти нет!
 Есть другое, Небесное, утро.

* * *

Помер мужик зимой:
 Сердце. Упал и помер.
 Кружится шар земной,
 Даже на миг не обмер.

Помер мужик легко,
 Да хоронить не просто:
 Сколь намело снегов!
 Тяжко идти к погосту.

— Видно, мужик болел...
 — Пил! Вот и помер, грешный...
 — Он, говорят, сидел.
 Жалко его, конечно.

Топчутся земляки.
 Пешни ломают глину.
 Дышат на кулаки:
 — Зимний уход — он длинный.

Пешни ломают лед.
 — Помер... Такое дело...
 Молча лежит лишь тот,
 Чье провожают тело.

Думает, на старух
 глядя душой незримой:
 «Если бы знал: помру,
 Перетерпел бы зиму».



* * *

Как телефонный жетон
в щель таксофона, скользнет
солнце за Божий хитон,
и горизонт оживет,

от тепловозных гудков,
точно от ветра, дрожа.
Воздух вдохнется легко,
с ним — и вечерний пейзаж.

Выдохну: «Будто в бору!..»
Имя, одно из двухсот,
выберу и наберу
номер...
Никто не возьмет.

* * *

И свет явил Господь в моем окне,
И шторой отделил его от мрака.
И, словно в первозданной тишине,
О землях небу повелел заплакать.

И капли очертили плечи древ
И пряди трав зеленых в пальцах ветра.
И солнце, на мгновенье замерев,
Бросала к облакам речная лента.

И чайка крик роняла между волн,
И вздрагивала спящая собака.
И руку мне, младенцу, серый волк
Лизнул, высвобождаясь из мрака.

Евангелие от...

Курю на последнем понтоне,
Глазю во тьму, как в суму.
Снег падает в реку и тонет
Безропотно, точно Муму.

И, русской природе согласно,
Евангелие от беды
Читаю. Напрасно, напрасно
Смыкали деревья ряды,

Над черной полоскою суши
Березы с полосками дат.
Там в злобе усопшие души,
Как осени листья, лежат.

И мнится, сказать что-то хочет
Сквозь ветер немой катерок...
Мне горько, мне горестно очень!
Я тоже — спасенный щенок.

Бог нем к неумеющим слушать.
Россия глуха от войны.
Читай же, по водам идущий,
Евангелие от вины.



Валентина ГОРАК

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Повесть

Она приехала в середине лета, вышла из поезда на маленьком вокзале станции Лена и поняла, что небольшой городок, в котором она родилась и выросла, вполне себе цивилизация по сравнению с тем, что она увидела здесь.

«Ой, ладно, — сказала тогда она себе, — это ненадолго, три года — небольшой срок, оттрубим». Если бы она знала, что неумолимые Хранители Севера будут добавлять по три года еще девять раз. А потом все-таки отпустят ее, неблагодарную, на забывшую ее родину. Север словно из пращи ею выстрелит, и она перелетит две с половиной тысячи верст и приземлится на родине предков, и ей покажется, что она никуда и не уезжала, но это все будет потом.

А пока они с Петей стоят на берегу и Лика с удивлением смотрит на неширокую речушку, скромно несущую свои воды между уютно расставленными сопками. Вблизи течение было видно, но чуть дальше вода словно застывала. Потом река поворачивала, но казалось, что она и не поворачивает вовсе, а стоит, запертая сопкой, как тяжелой, поросшей лесом дверью.

— Это река? — спросила Лика Петра.

— Что значит — река? — не понял Петр.

— Это Лена, великая сибирская река? — не могла унять Лика.

До Петра наконец стал доходить смысл вопроса. Петр отходил по Лене уже две навигации, эта была третья. Он знал, какая она, Лена.

— Ну ты даешь! — сказал он. — Да ты знаешь, какая Лена в низовьях? Ну, ничего-ничего, посмотришь, скоро уже.

Танкер, судно со сложной системой налива и хранения нефтепродуктов, на котором работал с начала навигации Петр, находился у причала нефтебазы в ожидании погрузки. Чтобы на него попасть, требовалось с дебаркадера погрузиться на рейдовый катер, подойти на нем



к борту судна и по дрожащему хлипкому трапику (или это ноги у Лики дрожали?) перейти на танкер.

Лику приятно поразило, что подниматься по трапу кроме Петра ей, непривычной пока к таким подвигам, помогали еще двое молодых парней задорного вида, которые с плохо скрываемым любопытством на нее глазели.

— Рулевые, Серега и Мишка, — шепнул ей Петр.

В этот же день она услышала случайно, как Серега с Мишкой хихикали между собой, что новенькая, жена «второго», хороша, но старовата. Лика даже расстроилась: конечно, она не первой молодости, далеко не шестнадцать и не восемнадцать даже, а двадцать три все-таки, но все равно обидно.

Впрочем, смешная обида очень скоро забылась под рухнувшими на нее заботами.

Как она, выпускница НГУ, филолог по образованию, оказалась в роли судового повара — так это Пете спасибо сказать. Она-то планировала приехать сюда к мужу (как декабристка) не раньше осени, когда навигация закончится. Но на судно срочно потребовался новый повар, или повариха, как здесь говорили. У прежней, бабы Кати, как ее называли в команде, стали случаться сердечные приступы, и после возвращения в порт приписки ее отправили в больницу. И вот тут-то соскучившийся по любимой Петр и предложил капитану кандидатуру своей жены в качестве повара. Пусть поработает, а заодно и по Лене прогуляется — когда случай еще представится? Конечно, Петр с ней предварительно советовался, а она, тоже успевшая заскучать по уехавшему еще в апреле мужу, ничего против не имела: посмотреть реку ей и самой хотелось, пусть даже и такой ценой. Да и к готовке дома она относилась положительно, многое умела, к тому же была уверена, что ей предложат поучиться неделю-другую на каких-нибудь поварских курсах.

Однако в кадрах предприятия заморачиваться не стали, а взяли бланк, черкнули несколько строчек, поставили печать, и вот уже повар второй категории приступил к своим обязанностям на самых что ни на есть законных основаниях.

Стало тяжело, черно-бело и скучно. Огромные кастрюли, поварешки, сковороды, девять человек экипажа, мойка посуды. Лика с тоской вспоминала свои домашние миниатюрные кастрюлечки, себе и Пете, и ту радость, с которой она фантазировала над ними. К тому же она стала замечать, что к ее черно-белому настроению прибавляется какая-то общая натянутость и в человеческом коллективе, в экипаже, как здесь говорят.

Она еще не скоро поймет, что здесь, на Севере, это норма. Суровый климат, бесцветная природа гармонируют лишь со сдержанными,



чаще суровыми, а зачастую и жесткими тонами человеческих настроений. Сдержанная печаль словно разлита повсюду, и человеческие души тонут в этом вязком мороке неосуществленных желаний, недостигнутых целей, нерадостных застолий и недолюбленных любовей.

К этому она так и не привыкла... Двадцати восьми лет оказалось мало.

С кастрюлями и поварешками же свыклась довольно быстро, и вот уже кухня-камбуз засверкала, в кают-компании появились веселенькие занавесочки, а с ними и улыбочки на лицах членов экипажа.

Все-таки это были именно улыбочки. К ней, молодой, хоть и замужней, но не обремененной еще детьми, утонченной зеленоглазой блондинке, приглядывались, и поначалу оценивали далеко не как товарища по работе и члена экипажа. Но ее цельная натура да и Петин авторитет быстро расставили нужные акценты. К тому же за Ликой очень скоро заметили, что она не совсем, что ли... от мира сего, и интерес к ней как к женщине постепенно трансформировался в товарищеское уважение с оттенком не просто симпатии, а некоего даже благоговения. На простом Севере ценят непростых людей.

Надо сказать, что и Лика постепенно сроднилась с окружающей ее неродной средой. Она вошла в этот чуждый для нее мир, как в холодную воду, и постепенно, ежась от холода, ахая и вскрикивая, стала в него погружаться. А погрузившись, вдруг ощутила некий восторг, восторг преодоления себя, своих страхов, комплексов, опасений. Она уже чувствовала себя как рыба в воде, резвилась, играла, созерцала и откладывала в душе впечатления, которые пронесет с собой потом через всю жизнь.

Мурка появилась на судне в день отплытия.

Уже с утра Лика заподозрила что-то неладное. И прежде всего — задорная парочка, Серега и Мишка, стала вести себя как-то неадекватно: непонятное шушуканье по углам, взрывы нервического хохота, в глазах нездоровый блеск и румянец на щеках. В общем, гормональный всплеск налицо.

— Петя, что с рулевыми? — улучив удобный момент, поинтересовалась Лика.

— Матроску прислали, — прояснил ситуацию Петр. И добавил: — Мурку.

— Что-о-о?

— Матроска моет жилые помещения корабля. До сих пор мыли рулевые. Но с пацанов какой порядок? Вот капитан и психанул, решил, пусть и не с начала навигации, но все-таки чтобы матроска была. Теперь она будет отвечать за чистоту.



— Почему «матроска», а не матрос?

— А почему ты «повариха», а не повар? — Петр ни с того ни с сего подошел к ней (они были на камбузе), притянул за плечи и сладко поцеловал в губы, а потом загадочно добавил: — Будете дружить, если получится... вы же две «бабы» на корабле.

Ли́ка была шокирована: они же договорились с Петей, что вне каюты никаких проявлений нежных чувств, чтобы не травмировать души и не рвать сердечные мышцы «беспарных» членов экипажа. Но, махнув на Петю полотенцем, спросила все-таки:

— А почему «Мурка»?

— Да ее все тут знают — Маня Крайцман. Отсюда кликуха: Маруся Климова, то есть Мурка в конечном итоге.

— Не многовато прозвищ для одной? — пожала плечами Ли́ка, сама вдруг напряглась и стала ждать прихода второй «бабы» на корабль.

С появлением Мурки на судне все словно с ума посходили. Даже Петр лип к Лике больше обычного, и не только в каюте. Вокруг же Мани, с путаной копной выющихся ниже плеч волос, с темными печальными глазами-глазищами, водил хороводы весь рядовой состав.

Серёга с Мишкой, так те из кожи вон лезли, лишь бы обратить внимание матроски на себя. Не отставал и Эдик Травкин, электромеханик из Ростовского речного училища, непонятно с какого перепугу заброшенный на Лену проходить практику.

В те годы на Лену откуда только не присылали. Делалось это не без задней мысли: вдруг, приехав на одну навигацию, останутся надолго или даже навсегда. Север надо было заселять и осваивать.

Так порой и происходило, но не в случае с Эдиком. Тот трещал о Черном море без умолку, уверял, что он тут случайно, что он и речником становиться не собирается, а только моряком, относился ко всему, что видел в Сибири, презрительно-высокомерно, скучал и считал дни до возвращения домой в Ростов. Его сразу же прозвали Черноморик. На Маньку-Мурку он тоже запал, был уверен, что и она выберет именно его, чернобрового, чубатого казачка, и советовал Серёге с Мишкой не париться: Мурка будет его, а чья же еще?

Ли́ка наблюдала всю эту вакханалию как бы со стороны. Она чувствовала себя в окружении этих наивных малолеток взрослой, умудренной жизнью женщиной. Вместе с ней позицию наблюдателей заняли и остальные члены экипажа.

Например, Сашка, третий рулевой: старый, лет двадцати шести, страшный — по левой щеке глубокий рубец от ножевого удара, когда улыбался, прямая белая полоса ломалась и становилась похожей на молнию, — опытный, заматерелый. У него шансов не было, и он



не суетился. Его интересы, простые и давно знакомые, ждали его в портах.

Капитан корабля, Владимир Иванович Козырев, добродушный, видевший в жизни многое, только похмыкивал себе. Его поезд давно пришел на станцию Семья, спокойствие и умеренность, но в том, чтобы посозерцать молодые страсти, он себе еще не отказывал.

Ровно дышал и механик Дмитрий Николаевич Бузука. Впрочем, последний, известный на все Ленское пароходство бабник, был бы и не прочь, будь Маня «почище». Для него — вальяжного, лощеного, всегда в отутюженной форме, даром что механик, сходящего под фанфары на берег в любом ленском порту, — было как-то мелко выказывать симпатии соплячке с жутким маникюром и лубочным макияжем. Все-таки он любил девок поинтересней, к тому же предпочитал блондинок. Нет, если б рыбка сама поплыла в его сторону... но рыбка выбрала совсем другое направление, против течения. Хотя об этом чуть позже.

Закончили погрузку, и судно, прошедшее текущий ремонт и доукомплектование экипажа, вышло в рейс. Пункт назначения — северный городок Мама, что на притоке Лены Витиме.

— Мама? Что это за «мама» такая? — рассмеялась от неожиданности Лика, когда Петр сообщил ей об этом.

— Название реки и поселка. «Мома» вообще-то, вроде «лесная река» по-местному. Ну а русские в Маму переделали, — дал пространственные разъяснения Петр. И незабываемые приключения на великой реке Лене для Лики начались.

Капитан Козырев дело свое знал, благодаря чему экипаж с самого начала навигации четко исполнял свои обязанности на судне. Расписание вахт висело в рубке, а расписание завтраков, обедов и ужинов — в кают-компании.

Иваныч, как величали капитана члены экипажа, быстро понял, что с людьми в этом году ему повезло. Двое рулевых, Серега Маркин и Мишка Резник, последний — сын его однокашника Геннадия Павловича Резника, были прошлогодние. Генка Резник сам ходил капитаном, но принципиально не брал сына с собой, чтобы тот не вырос «папенькиным сыночком». Однако совсем отпустить кровиночку в свободное плавание еще не решался. Вот и поручил его другу.

Четвертую навигацию ходил с Иванычем и старпом Коля Королев, безотказный трудяга, при нем можно не переживать по поводу дисциплины и порядка на судне. Что же касается механика Бузуки, однокурсника по Якутскому речному училищу и друга юности, — встретились они в прошлом году, под осень, и сразу поняли, что работать должны вместе.



Основной причиной были интересы Иваныча. Любил человек ленскую элитную рыбку: нельму, осетра, омулька, да и сохатинку уважал, а Бузука — мужик крученный, круче закручен только свинячий хвост, как злословили про него недоброжелатели и завистники. Без мяса, рыбы, оленьих шкур и модных в то время рогов, коими были украшены стены почти всех северных домов, из плавания не возвращался. Заиметь себе такого механика — как в лотерею выиграть.

Доволен был капитан и вторым помощником, которого прислали по распределению из Новосибирска: высокий, крепкий, с характером, а главное, с чувством юмора, умеющий ладить со всеми. Будущий капитан, одним словом, на таких, как он, речной флот и держится.

Когда вместо бабы Кати на судне появилась Лика, светленькая, тоненькая, восторженная, Иваныч решил было, что разносолов в остаток навигации им не видать, но хоть на красоту налюбуются. Но и тут все скоро утряслось. Лика быстро порушила сложившиеся стереотипы, что красивая не может быть умной, а тем более работающей. Оказалось, еще как может. Понятно, что с таким костяком кораблю ничего не грозило, навигация обещала закончиться, как и началась, — вполне благополучно.

И правда, жизнь на танкере снова входила в обычную колею. Если не считать, что вместо одной «бабы Кати» в экипаже появились две молодые и красивые «бабы».

Новенькие определялись с интересами и пристрастиями. Лика, например, полюбила ходить в рубку, когда Петя на вахте. Она становилась у него за спиной и смотрела, как он управляет судном. Петя любил рулить сам, а Сашке-рулевому, который был поставлен с ним в одну вахту, было пофиг: сам так сам. Когда приходила Лика, он понимающе удалялся: не мог смотреть на все эти «муси-пуси» вновь воссоединенной влюбленной парочки.

Впрочем, «рулить» для большого нефтеналивного судна — слово не совсем подходящее. Потому что руля или штурвала как таковых не было, и это поначалу Лику разочаровало. Рулевое устройство состояло из ничем не примечательной «рогульки», которую надо было отклонять то вправо (право руля), то влево (лево руля). Гидравлическая система тонко слышала команды и легко отзывалась на них. Рубка была в корме, и почти стометровое тело корабля, вытянутое вперед огромной сигарой, чутко реагировало на малейшую манипуляцию с рулем.

Пете непросто было управлять огромной машиной и одновременно целовать и миловать любимую, но драйв, который он испытывал при этом, того стоил. Лика же была уверена, что рулить совсем не трудно, а значит, целоваться можно.

Однажды Лика стояла позади Петра и щекотала губами ему за ушком, периодически взглядывая из панорамных окон рубки на реку.

Судно, казалось, неподвижно лежало на чуть ребристой поверхности реки, а вот берега проплывали мимо, тихо покачиваясь и словно одобрительно кивая влюбленным.

Виды становились все более монументальными и экзотическими. Если вчера были просто сопки, небольшие, покатые, покрытые густой растительностью, то сегодня сопки уже трансформировались в скалы, которые словно бы специально были расставлены вдоль русла реки древним фантазером-великаном, чтобы не дать реке разлиться по поверхности земли. Водный поток был как бы втиснут в узкий каменный желоб, где создавалась сумасшедшая скорость течения.

С какого-то момента берега-скалы стали заметно убыстрять ход и одновременно надвигаться с двух сторон на корабль. Лика вдруг забыла про приятное занятие, которому они с Петей предавались, и ей, филологу по только что полученному образованию, неким озарением пришло, что это очень, очень похоже на... двух античных дам, Сциллу и Харибду! Они так же надвигались на парусные суда и сжимали их в своих объятиях! Лике стало любопытно и тревожно. В рубке появился капитан:

— Справляешься? Где Александр? — спросил он у Петра.

— В машинку отправил, — соврал второй помощник.

Но Сашка появился тотчас:

— В машинном отделении все нормально, — глазом не моргнув, доложил он вахтенному начальнику.

Лика разговор мужчин не слышала. Она смотрела на реку. Сцилла и Харибда начинали казаться детской сказочкой по сравнению с тем, что она наблюдала воочию. Ленские Сцилла и Харибда больше напоминали две отвесные каменные стены, которые сначала выросли в высоту, а потом, угрожающе покачиваясь, пошли на сближение друг с другом. Они, словно две гигантские каменные ладони, задумали прихлопнуть корабль, как нахальную муху, залетевшую в их владения.

Лика заворожено смотрела на это сближение и думала: «Нет же, не может быть, кто я такая, чтобы именно меня взять и раздавить в этих стенах-скалах? А потом в газетах напишут, что в Восточной Сибири, на реке Лене случился такой вот необъяснимый феномен...»

Но додумать Лика не успела, потому что в следующий миг произошло что-то совсем уж невероятное. Сначала Лике показалось, что река... остановилась! Она уперлась в третью стену, которая выплыла откуда-то, покачалась немного и прочно и неумолимо заняла свое место как раз поперек течения реки.

Остановилось все: вода, скалы-стены, расставленные буквой «П» на пути корабля, но понесло корабль! И понесло на эту неизвестно откуда взявшуюся третью стену. Это было уж слишком, нервы сдали, и Лика сдавленно вскрикнула, испуганно зажав рот рукой.



Столкновение казалось неизбежным. Все-таки ее выбрали. И сейчас она улетит туда, в далекое прошлое, в мир, о котором она запоем читала в последнее время, в ту самую Гиперборею, легенды о которой ей безумно нравились! Мыслям не хватало времени сложиться в единое целое, и Лика просто зажмурилась и стала ждать. Она была готова. А что, раз она выбрана, значит, это должно произойти, и не надо бояться, это же не наказание, это — миссия!

— Лика, что с тобой? Лика, открой глаза! Да очнись ты! Сашка, держи руль!

Петр подскочил к Лике и стал трясти за плечи. Лика открыла глаза: нет, переход не состоялся, она вполне себе там, где и была, в рубке, и Петя рядом. Мимо величественно проплывала та самая скала-стена, в которую они только что чуть-чуть не врезались. Скала просто поосторонилась, вежливо и плавно развернулась в самое последнее мгновение, и корабль, тоже вежливо наклонив голову-рубку, словно игриво кивнув ею скале, дал прощальный гудок.

Участок реки под названием Щеки был, конечно, сложным для прохождения грузовых судов, но вполне преодолимым, и для хорошего штурмана особой опасности не представлял.

Однако капитан, перехвативший руль вперед Сашки и теперь, когда все было позади, раздраженно передавший его назад вахтенному начальнику, выразил последнему, то есть второму помощнику Петру Вербину, на первый раз в устной форме, строгое порицание за то, что в рубке во время движения судна находятся посторонние.

Лика, как только убедились, что она окончательно пришла в себя от испуга и с ней все в порядке, была сослана на камбуз, после чего капитан наконец отвел душу. Он разразился такой многоэтажной цветистой тирадой в адрес второго помощника, что даже у Сашки заложило уши. Однако потом мужчины от души и как-то незлобиво похохотали. Им нравилось, когда красивые женщины пугаются того, что является их, мужчин, повседневным, обыденным, пусть даже и немного опасным, трудом.

С самого первого дня после прихода на судно второй помощник капитана Петр Вербин сдружился со старпомом Николаем Королевым. Впрочем, Николаем, да тем более по отчеству — Гавриловичем, его никто никогда не называл. Коля Королев — звучало как-то ладно и органично и всех устраивало. И сам Коля был ладным, русоволосым, крепко сбитым парнем. Не то чтобы очень веселым, но доброжелательным, уравновешенным, в общем, позитивным.

То, что они сошлись, Петр и Коля, имело свои объективные причины: оба были с недавних пор семейные, оба находились в состоянии влюбленности в своих жен, с которыми с начала навигации были в раз-



луке. У Коли был еще и ребенок, родившийся шесть месяцев назад, сын Толичка, в котором он души не чаял.

Наблюдая круговорот мужчин вокруг новенькой матроски, Петр и Коля только посмеивались да ставки делали, кого наконец выберет Мурка. Пари заключили по-взрослому, на ящик водки, а Лику попросили «разбить».

Ли́ка была под таким впечатлением, что этим же вечером пристала к Пете с отчаянно мучившим ее вопросом:

— Петя, а если Маня никого не выберет?

— Как это не выберет? — удивился Петр.

— Ну не понравится ей никто. Вот с какой стати ей обязательно должен понравиться кто-то из этих троих, ну, или еще кто-то?

— Как это не понравится? — Петр просто не понимал, что имеет в виду Ли́ка. — Понравится, никуда она не денется! — И, сделав паузу, добавил для ясности: — Пойми, Мышонок, женщина на корабле не должна быть бесхозной. Она обязана сделать выбор и быть верной как минимум до конца навигации!

— А если...

— А если будет «если», то, считай, кораблю триндец!

— Но ведь она же человек! Такой же, как все! — эту фразу Ли́ка прокричала уже в спину выходящему из каюты Петру: ему пора было на вахту.

Когда Петр возвратился в каюту, Ли́ка, рассеянно переделав все дела на кухне, опять сидела на кровати с таким отрешенным выражением лица, что Петр не на шутку испугался:

— Мышонок, что случилось?

— Петя, ну а если она все-таки не...

В глазах Ли́ки было столько отчаяния, что Петра, как холодной водой, окатило жалостью. Его Мышонок четыре часа страдал, как он мог допустить такое?! Полный раскаяния, он плюхнулся на кровать рядом с любимой и произнес как можно более проникновенно:

— Ли́ка, ну ты посмотри на Маньку: да она сама без мужика пяти дней не протянет, а прошло уже семь, как она на корабле. Пойми, ты со своей колокольни страдаешь, а она... не та-ка-я, как ты!

Мурка-Манька действительно была «не такая». Это была яркая брюнетка с восточным разрезом глаз, с белой кожей и легкой фигуркой. Но верно подметил Бузука: «запущенная деваха», ничуть не тронутая воспитанием.

Хотя... могла ли быть другой девочка, выросшая в северном провинциальном, забытом богом и людьми городке с алкоголичкой-матерью? К тому же с самого начала все окружение матери, а значит, косвенно, и ее окружение, пророчило ей повторение материной судьбы.



Ей словно печать припечатали и подписались, что быть ей шлюхой и алкоголичкой.

И Маня, как лунатик в лунную ночь, стала балансировать именно на этом узеньком карнизе. К моменту прихода на корабль у нее за плечами было восемнадцать с половиной лет, два аборта и один выкидыш, о котором позаботилась она сама. И ничто не предвещало какого-то иного развития событий.

Но Маня уродилась вся в мать, а та не всегда была такой, какой она стала благодаря пришедшему в ее жизнь страшному сожителю — женскому алкоголизму. Лидку Крайцман еще помнили совсем другой: веселой, хваткой, независимой, страстно желающей быть счастливой. Такой она была на заре своей юности.

Эта независимость, это страстное желание быть счастливой и со служили ей злую службу. Замуж Лидка выходила три раза, и ни с одним избранником создать не только счастливую, но хотя бы сносную семейную жизнь не смогла. Мужики все были не те: хлипкие, недостойные ее яркой красоты, какие-то и не мужики вовсе, не было с ними счастья, хоть тресни! Но Лидка верила, и счастье наконец подвернулось. Она влюбилась так, что небо скукожилось в овчинку, а счастье... оказалось прочно женатым. Мир рухнул, а Лидка надломилась, как былиночка на ветру.

Дочь она любила, но ничегошеньки дать ей не могла, кроме крошечной нищеты, муторного похмельного запаха в неустроенном их сиротском домишке, все еще не погасшего окончательно желания быть счастливой, склочности и драчливости да ненависти и зависти к другим, счастливым, которым тупо повезло, а они этого счастья вовсе не достойны.

А еще она дала дочери какую-то сумасшедшую притягательную женскую силу. Не было такого мужика, который в присутствии Мани мог бы оставаться в спокойном, уравновешенном состоянии. И неважно, что она всего лишь молоденькая соплячка, не слишком хорошо одетая, наштукатуренная, как стена в подъезде, грубоватая, несносная, опасная. Это была самка в самом ярком своем воплощении, чертовски желанная. И Мурка все понимала и уже умела своей силой пользоваться.

Поднимались по Витиму к Маме. Для Лики Витим навсегда останется сиреневой сказкой. У этой реки не зря мужское имя. Неширокий, в скалистых берегах, стремительный, с настолько мощным течением, что суда вверх идут почти что шагом. Зато обратно их движение по реке напоминает полет. За две вахты река выталкивает любое судно из себя, как пробку из бутылки, — так не любит чужаков. Сиреневый красавец, одним словом, к тому же капризный.



Почему же все-таки сиреневый? А вот закрался этот цвет в подсознание: яркий, насыщенный, счастливый! А составляли его и зелень берегов, от глубокого зеленого цвета до светло-салатового, и утренний восход, нежно-нежно-розовый, и небо в полдень, прозрачно-лазоревое. Как будто ребенок взял акварельные краски и беззаботно окунает кисточку то в ярко-красный, то в радостно-зеленый, то в беззаботно-розовый, то в солнечно-желтый... А в результате возникает ощущение счастливого сиреневого, цвета романтики, желания объять весь мир, жить и любить!

На судне царило полное спокойствие, порядок, даже какая-то речная идиллия. Экипаж казался настолько удачно подобранным, дружески настроенным, что Владимир Иванович нет-нет да сплевывал через левое плечо и даже крестился украдкой, хоть ни во что толком не верил, когда слышал то добрый смех, то незлобивое подначивание, то дружеские приколы, заканчивающиеся, как правило, сдержанно-радостным ржаньем. Двух молодых и красивых женщин, так неожиданно и так кстати появившихся на судне, все яростно любили, правда, разною любовью. Перед одной благоговели, для другой готовы были на все, лишь бы... да хоть бровью повела.

И этот ослепительно-сиреневый красавец Витим, и эти мужчины, так красиво и достойно делающие свою непростую мужскую работу, бесконечно восхищали Лику. Ей уже не казалась трудной ее собственная вахта на кухне, и она уже не жалела, что согласилась с предложением Пети поработать поваром. Ведь она должна увидеть Лену всю, целиком, теперь уже точно должна! Да если всего лишь один ее приток так хорош, то что же вся она?

Быстро скатились назад. После сумасшедшего полета вниз по течению мстительного Витима, как в стоячую воду, плюхнулись в Лену. Однако очухались, отдышались и бодро потянулись, теперь уже вверх по течению, в Осетрово, под погрузку. Еще до прихода на нефтебазу по радиации сообщили, что арктическая навигация открыта и назначение их следующего груза — порт Тикси.

Иваныч с Бузукой потирали руки, были довольны и остальные члены экипажа. Еще бы, арктический рейс — это для речника все: и выполнение плана, а с ним почет и уважение, и премии, считай, в кармане, и почетные грамоты, да и другие трофеи, не такие официальные, о которых, впрочем, в свое время.

С каждым днем Лика все отчетливее понимала, что имел в виду Петр, когда произнес ту многообещающую фразу:

— Да ты знаешь, какая Лена в низовьях? Ничего-ничего, посмотришь, скоро уже.

И она смотрела. Смотрела каждую свободную минуту. Их было у повара грузового судна не очень много, и Лика использовала любую



возможность, чтобы убежать на нос корабля, на бак, как здесь говорили. В рубку, после того случая, ей ходить было как-то неудобно, хотя Петя уже снова звал.

Но она сделала открытие, и этим открытием было — прийти рано утром, до восхода, или, наоборот, вечером, перед самым закатом солнца, на бак. И здесь, стоя у борта, обдуваемая ветром, она наслаждалась чистотой и сладостью великолепного, настоящего речного воздуха, пахнущего свежестью, немного рыбой, а также здоровьем и вечностью.

А еще здесь было тихо, потому что машинное отделение в корме и шум работающих двигателей совершенно не слышен. И эта потрясающая тишина гармонировала с открывающимися картинами природы, что надвигались, наплывали на Лику из зелено-голубой бесконечности реки, тайги, неба, облаков — одним словом, из мироздания, которое охватывало, заключало в объятия и уносило в неведомые параллельные миры. Лика становилась в самой оконечности носа, где два борта сходились, образуя угол, поднимала руки над головой и, наполняясь счастьем единения с природой, отдавала себя этой тишине и бесконечности.

Река зачаровывала, она тянула к себе, она втягивала в себя. Лика наклонялась над бортом и подолгу всматривалась в воду. Зеркальная поверхность не впускала в себя, она отталкивала неверующих и боязливых. Она словно бы говорила: хочешь знать, что внутри меня? А что тебе мешает? Надо лишь пройти тонкую-тонкую грань. Это так легко, так просто, и ты узнаешь все-все, что хочешь знать обо мне. Более того, ты войдешь в мой мир, ты станешь частью его. Возможно, ты станешь русалкой и тогда будешь вечно резвиться и плескаться в моих водах, любимая и оберегаемая мною, великой рекой. Но для этого надо уверовать и перестать бояться.

Так уговаривала река, но Лика не была готова поверить ей. Ну уж нет, здесь у нее Петя, а что даст ей река?

— Нет-нет, я пойду, — говорила она реке, поворачивалась и шла по протопчине, придерживаясь за леера, обратно в надстройку корабля. Она шла, легкая, наполненная свежим речным ветром, небом, тайгой и своими фантазиями.

— Вон, твоя возвращается, надышалась речным воздухом, — говорил Владимир Иванович Петру, и добрая улыбка появлялась в уголках его губ. И вдруг добавлял: — Ты, Петр, поглядывай за ней. Глупо, конечно, но мне иной раз кажется, что ей летать хочется. Восторженная она у тебя, не улетела бы.

— Да ну, Владимир Иванович, нормальная она, — возражал Петр, но на всякий случай спускался из рубки в камбуз — удостовериться, добежал ли его Мышонок до места назначения, не растворился ли по дороге в своих бурных фантазиях.



Ли́ка и Му́рка, как и предска́зывал Пе́тр, все-таки сблизились. Такое могло произойти только здесь, на судне. Больше нигде эти две планеты, летящие по параллельным орбитам, встретиться бы не могли. Одна — любимица Солнца, не обделенная ни теплом, ни светом. Другая — и не планета вовсе, так, беспризорная комета, летящая в пространстве. Она тянется к живительным солнечным лучам, она хочет быть обогретой и обласканной, но дорогу к свету не знает, летит наугад, ее движение хаотично: найдет — не найдет, повезет — не повезет.

Для восемнадцатилетней Му́рки двадцатитрехлетней, только что окончившая Новосибирский государственный университет, замужняя Ли́ка уже по определению была взрослой женщиной. Для Му́рки авторитетов не существовало, но Ли́ку она заужажала, и уважение это, как ни странно, очень скоро переросло даже... нет, не в дружбу, но в искреннюю и глубокую симпатию.

Конечно, они откровенничали и, сойдясь за рекордно короткие сроки, вывалили друг на друга почти все свои секреты. И были потрясены ими!

Му́рке было ох как много чего непонятно и неприемлемо в Ли́ке. Например, тот факт, что у Ли́ки за всю ее длинную жизнь был только один мужчина. Она просто отказывалась верить в такую чепуху. Но отказывалась, так сказать, внешним сознанием. Внутреннее, уже на третий день знакомства, не сомневалось: Ли́ка — не врет!

Ли́ке было еще труднее осознать, что Ма́ня, эта совсем еще юная девочка, имела такое количество мужчин, но больше всего ее поражало, что Ма́ня при этом говорила о себе как об очень разборчивой особе.

Внешнее сознание Ли́ки также отказывалось воспринимать и два Маниных аборта с третьим чем-то там еще. Му́рка в очередной сеанс откровенности в подробностях расписала Ли́ке, что она предпринимала, чтобы вызвать этот самый выкидыш. Он произошел у нее дома, а потом она чуть не умерла, потому что долго не приезжала скорая. Рассказала про грубость этих сучек-медсестер и презрительно-высокомерное отношение врачей в этой долбаной больнице. Ли́ка слушала, и ей казалось, что она попала в зазеркалье, что на самом деле ничего такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но так считало только ее внешнее сознание, внутреннее же прекрасно понимало: все, о чем повествует Ма́ня, — сущая правда!

Разве после таких откровений они продолжали бы общаться, если б были не на судне? Но они — «две бабы на корабле», как сказал Пе́тр, и им уже некуда было деться от своих откровений. И они снова и снова искали встречи друг с другом, чтобы еще более полно, уже не утаивая ничего, досуха, до донышка, выворачивать и выворачивать друг перед другом души наизнанку.



Работал эффект купе поезда, когда пассажир за два-три дня умудряется выдать всю свою подноготную абсолютно незнакомому человеку, чтобы, сойдя на своей остановке, напрочь забыть про него в тот же день и час, навсегда.

Здесь имелось в распоряжении гораздо больше времени, и чем больше тайн Лика и Манька открывали, тем больше были интересны друг другу. И вот уже Лике стало казаться не так дико и невероятно все, что довелось испытать Мане. А той хоть и жалко было бедную Лику, что так мало видела, но уже казалось вполне приемлемым: да, один мужик, но какие ее годы, еще не старая! В одном они сходились определенно: каждая ни за что на свете не желала оказаться в шкуре другой. И это только спланивало женщин перед безжалостной, неумолимой, жестокой, капризной злодейкой — бабьей долей!

На четвертые сутки подходили к Якутску. И в этот же день праздновали день рождения Мишки Резника. Торжество обещало быть особенно интересным: возможно, на праздничный ужин придут Мишкины друзья с других судов, оказавшихся в Якутске в то же самое время.

Команда жила ожиданием, Лика прикидывала, чем удивить народ. Для нее это было первое торжественное мероприятие на судне, и следовало не ударить в грязь лицом. Надо было постараться и Маньке. Подходили к порту, и судно должно блеснуть и сверкать, как пасхальное яичко.

Последнюю неделю Манька ленилась, с ней такое случалось. Ей даже старпом сделал замечание. Впервые! Дело в том, что руки у девчонки были золотые, в них просто все горело. Порядок она наводила — как песню пела: красиво, ловко, споро. Через два-три часа все сверкало и блестело. Но и лениться умела. И это тоже делала самозабвенно, нагло, уперто: «А вот что вы сделаете, если я хоть три дня в каюте проваляюсь? Буду плевать в потолок и на всех вас заодно?» Ее надо было уговорить, с ней только по-хорошему. А Коля Королев, в данном случае старпом Николай Гаврилович, проявил неосторожность: вызвал матроску к себе и устроил разнос.

— Чтобы к завтрашнему утру корабль блестел во всех местах, как котовьи яйца!

Маньке бы сдержаться, но у нее не было настроения. И понеслось. Последнее, что услышал Николай Гаврилович перед тем, как Манька хлопнула дверью его каюты, было:

— Да пошел ты! Старпом долбаный! Будешь меня еще учить, я сама тебя научу. Еще пожалеешь!

На что вслед услышала:

— Все, коза драная, ты списана с судна! Собирай вещички, в Якутске сойдешь!



Угроза была более чем серьезной. Каким тесным кругом ни жили члены экипажа, субординацию на судне никто не отменял.

Манька это прекрасно понимала и, при всей крутости характера, уже скоро сидела перед Ликой и тихо ныла про этих неблагодарных, тупых мужиков. Это означало только одно: Лике надо идти к Пете, чтобы он попытался уладить конфликт. Петя, как Колин друг, единственный мог в этом посодействовать. Манька же, само собой, пошла драить.

Через два с половиной часа корабль блестел. Иваныч, случайно пройдясь по жилым отсекам, восхитился порядком и чистотой на судне перед заходом в порт и, не зная ничего о ссоре матроски со старпомом, от души ее похвалил.

Николай Петру пообещал, что Маньку простит, что с нее, с соплячки, взять, но при одном условии — если та перед ним извинится. Извинения и Манька — вещи настолько несовместимые (как-то еще выдраила корабль, наступила на горло собственной гордости), что всем стало понятно: конфликт вошел в тупиковую фазу и вряд ли разрешится благополучно.

Итак, утро наступило деятельное, но напряженное, с признаками близких нервных срывов. Впервые на корабле было не все ладом.

Лика ходила по камбузу, печалилась за подругу и обдумывала праздничный кулинарный сюрприз, когда прибежал Мишка и сказал, что Петр Родионович просит ее зайти в рубку.

Она не знала, что может быть так красиво. Впрочем, слово «красиво» не очень подходило. Прекрасно, невероятно, грандиозно. Сначала Лика увидела первые, редко расставленные фигуры. Может быть, людей, многие тысячелетия назад почему-то окаменевших там, где их застало нечто всесильное и переломное. Люди были не такие, как сейчас, а высокие, монументальные, наверняка при жизни красивые. Сейчас фигуры выветрились, истончились, причудливо искривились, лица стерлись ветрами и временем, но все еще угадывались в очертаниях.

И чем больше Лика вглядывалась, тем явственнее они проступали. Иной раз губы складывались в усмешку, как у этого истукана, пристально смотрящего на проплывающий мимо корабль, маленькую щепку с людьми-муравьями. Во что превратилось человечество? Полубоги, огромные, как глыбы, мудрые, как мироздание, стали спустя миллионы лет ничтожными муравьями.

Лика вздрогнула, ей показалось, что тот, усмешливый, оторвал свой взгляд от корабля и сконцентрировал на ней. Скорость судна — двадцать километров в час, по течению. Усмешливый быстро отдалялся, но хорошенькая женщина привлекла его внимание, и он поворачи-



чивал вслед голову. Его мистический взгляд внушал Лике смешанное чувство страха и восторга одновременно. Она украдкой сделала ему знак рукой, и они распрощались. Но это было еще далеко не все.

Она повернулась вперед, по ходу судна, и ахнула. Прямо на нее наплывал город! А те одинокие скалы-люди были лишь первые встречающие, словно отбежавшие от городских стен навстречу кораблю-щепке, чтобы получше рассмотреть его. Скалы-люди постепенно превратились в толпу, а вот и сам он, город-гигант глубокой древности. Огромные утесы выросли из земли, срослись друг с другом и образовали это самое чудо под названием Ленские столбы. А впрочем, какие столбы, это сейчас столбы, а тогда они были величественными зданиями, в которых спокойно могли проживать такие же величественные люди.

Чем дальше Лика всматривалась в наплывающие фантастические картины, тем отчетливее различала детали причудливой архитектуры древнего города. Скорее всего, деревянного, только вот дерево было то, доисторическое. Огромные бревна, прочные, как железо, и впоследствии окаменевшие, идеально подгоняли друг к другу, возводя стены. Жилища сооружали многоэтажными, многобашенными, с многочисленными окнами, непременно украшенными искусной резьбой. Нашим предкам некого было бояться, редкие окна-бойницы в каменных замках европейцев придут позже.

Теперь Лика нисколько не сомневалась, что благодатная, мудрая, прекрасная Гиперборея существовала. Именно она дала понятие земного рая, то есть земли, где люди живут по совести, чести, по божьим законам, не зная ничего ни о войнах, ни о людских пороках, живут долго и счастливо. Некоторые историки помещают сюда Атлантиду. Но это другое. Ведь Атлантида — это мир воинственных, всегда побеждающих гигантов. Там рай для себя, западный рай.

Из скалы выступили человек со львом, человек и зверь общаются. А это похоже на быка... Вот человек, а рядом шествует единорог, а вот... Картинки запестрели, стали наслаиваться одна на другую, яркие, дивные. Мамонты, запряженные в красочные повозки, странные сооружения, похожие на колесницы и одновременно на летательные аппараты с крыльями и хвостовым оперением, птица феникс...

Стоп, стоп, так ведь она посажена на шпиль высокой башни, венчающей дворец, похожий, если смотреть со стороны реки, на грандиозную корону. Центр высотного сооружения почти достигал облаков, башня с птицей феникс возносилась к небу и, кажется, пронзала его, правая и левая стороны ступенчато спускались к земле. Все-таки категории высшего и низшего присутствовали в этом мире, отметила про себя Лика и... подобострастно замерла.

Потому что ясно увидела резной балкон дворца, а на нем седобородого старца. Прямой, благообразный, с сияющими синими всеви-



дьящими глазами, он стоял вполоборота к Лике и смотрел вдаль. А что если он... повернет голову и взглянет на нее вот этими своими глубокими, как бездна, глазами? И этот взгляд, конечно же, поглотит ее, втянет туда, в то, его время. Она не сможет воспротивиться и, пронесясь сквозь миллионы лет, в одно мгновение окажется у его ног.

Лика заметалась, силы оставляли ее, она понимала, что не хочет туда, но пересилить взгляд старца ни за что не сможет, а значит, то, что сейчас с ней произойдет, неминуемо. Старец уже поворачивал голову. Его глаза, взглянуть в которые так боялась Лика, сейчас обдадут ее волшебным, неодолимым светом и...

— Я же говорил, что тебе понравится, — раздался весело-ироничный, такой спасительный в этот момент голос.

Петя подкрался сзади и обхватил женушку за плечи, а Лика чуть не упала в обморок, так неожиданно было отрезвление и так разительно отличались друг от друга фантазия и явь, в которую она вдруг резко возвратилась.

— Петя, Петя, — она захлебнулась, не найдясь что сказать, но потом все же вымолвила: — Как это все-таки... невероятно.

— Ох ты, моя выдумщица. Ну, не трясись, что тебе на этот-то раз привиделось?

День рождения Мишки Резника шел своим чередом. Команда собралась в кают-компанию на вечернее чаепитие. От капитана была бутылочка вина, остальные сбросились и купили часы-парусник. Стояли в порту Якутска, и половина команды уже посетила город. Подарок вручался торжественно, поздравительную речь произнес сам капитан. Стол тоже был хорош: Лика наготовила всего, но гвоздем программы на столе красовался торт. Когда его увидел Петр, он пошутил, что Лике вдохновили Ленские столбы: торт чем-то похож на них своей многоэтажностью.

— Ну не сердись, — поспешил добавить Петр, заметив, что Лика дернулась, — столбы не съедобные, а торт — пальчики оближешь.

— Ах ты подлиза, ты же его не пробовал! — уличила мужа Лика.

— Его и пробовать жалко, на него можно только любоваться и глотать слюнки! — закончил льстивые дифирамбы умениям супруги муж.

Вторым гастрономическим гвоздем было экзотическое для Лики и вполне себе обыденное для местных ведерко тогунков. Небольшая, нежно пахнущая свежими огурцами рыбка плавала в рассоле и представляла собой нечто божественное. Принес ее на судно отец именинника Геннадий Павлович Резник, по-молодецки — Реза. Кстати, Мишкино «погоняло» было Михарез. Зашел на судно по случаю дня рождения сына, ну и с корешами повидаться — капитаном Владими-



ром Ивановичем Козыревым и механиком Дмитрием Николаевичем Бузукой, для Резы, еще по Якутской речнухе, Козырем и Бузой.

Ли́ка поначалу внимательно следила за порядком на столе, убира-ла грязную посуду, была сильно занята, но поглядывала на эту троицу с интересом. Все-таки любила она зрелых мужчин в форме. Выпивали крепко все, кроме Петра, тому скоро на вахту. Это была традиция, хорошая или плохая, но устойчивая на флоте. Бутылочка, принесенная капитаном, давно стояла пустая у ножки стола. Появились водка, болгарское вино — Мишка расстарался, а водку принес отец.

Становилось весело, назревали танцы. Появились две незнакомые Ли́ке женщины, одна — молоденькая, юная даже, глазастая, быстрая, с двумя торчащими на запад и на восток, туго затянутыми хвостиками, другая — платиновая блондинка в завитушках, в хорошем возрасте, разбитная, прокуренная. Ли́ка танцевала с Петей, и он дал, как всегда, четкие лаконичные разъяснения:

— Бабы с резниковского СОТа*.

Геннадий Павлович пригласил на танец, как ни странно, глаза-стую. Блондинка, выйдя на палубу, нервно курила, возвратилась и откровенно пялилась на Бузуку. Тот не спешил и поглядывал на Ли́ку.

Как только заиграла соответствующая музыка, Дмитрий Николаевич пригласил на танец Ли́ку. У Пети в двадцать ноль-ноль начина-лась вахта, и он вынужден был подняться в рубку.

Бузука мужик был хоть куда, к тому же не дурак, поэтому умел ценить не только доступную красоту, но и красу неземную. Именно та-кой красой на этом корабле в эту навигацию была эта женщина. Стан-цевать с ней танго было мечтой всех присутствующих здесь мужчин. Но позволить себе такую вольность решил только один — Бузука.

Ли́ка умела танцевать, все школьные годы ходила в танцеваль-ную школу. Бузука — танцор от природы, страстный, размашистый. Танец прошел под восхищенные взгляды зрителей, с аплодисментами в конце. Были и коленца, на которые Ли́ка грациозно-игриво отвечала, но не это заводило его в этой женщине. Он хотел подержать в руках трепетную лань. Ли́ке тоже нравилось, и, когда в конце Бузука все-таки подул ей в ушко, пытаясь откинуть спадающую прядь, Ли́ка зар-делась, но посмотрела на интересного механика так невинно и ласково, что покраснел и почувствовал себя пацаном уже он.

Танец закончился, и Бузука, сойдя с небес на землю, обратил на-конец свое орлиное око на Татьяну, ту самую, разбитную. Нужно было приглядеться: да, не юная, Реза со своей соплячкой в косичках пере-плюнул, но вид товарный, закрутить еще как можно, жаль, что курит. Бузука не любил курящих женщин.

* СОТ — самоходное, озёрного типа, трюмное судно.



Праздник превращался в пьянку, и Лике захотелось в каюту. Но надо было готовить чай, и она еще не попробовала тогунков. Лика с неизменной улыбкой вспоминает, как чистили ей этих тогунков практически всей командой. Установилась очередь из покачивающихся на нетвердых ногах претендентов. Тот, чью рыбку она выбирала, с гордостью отходил, но его глаза еще долго светились, а Лика до сих пор помнит вкус этой удивительной рыбки и тонкий запах свежих огурчиков.

Торт она нарезала, вскипятила чай, поставила чашки и ушла в каюту. Предлагать десерт было некому, хотя почти все были еще на месте. Серега с Мишкой крутили друг перед другом твист, пьяно, развязно, похабно. Эдик грозился всех научить плясать лезгинку, требовал включить нужную музыку. Козырь с Резой выясняли, кто из них лучший речник, великодушно предлагая первенство друг другу, и вспоминали дела былые. Хоть какого-то воспитания и след простыл: речь настолько была замешена на ненормативной лексике, что странно было, как они вообще друг друга понимают, но они понимали в малейших оттенках. Бузука сидел на кают-компанийском диванчике рядом с Татьяной. Парочка обнималась, никого не стесняясь.

Еще Лику удивили два обстоятельства. Почему Глазастая сидит у ноги Резы и преданно смотрит на него, а не веселится в кругу молодежи? А второе ее не просто удивило — потрясло. Кончилась быстрая музыка, и снова полились звуки танго. Лика была уже у дверей кают-компании, оглянулась и наткнулась глазами на Маню. Она танцевала, жарко обнявшись, припав к плечу, к груди, ко всем остальным частям тела, с... Колей Королевым! Это была метаморфоза. Коля, конечно, простил Маньку. Поговорил с капитаном, тот, довольный качеством уборки, которую произвела матроска на судне перед заходом в порт, посоветовал девчонку не списывать, но держать впредь в ежовых рукавицах. На том дело и замяли. Маня, конечно, должна быть благодарна старпому, но... не до такой же степени?!

Наутро Лика стояла на пороге кают-компании и думала о том, что лучше бы сейчас списали с судна ее. Помещение выглядело так, будто в нем бомба разорвалась. Она села на скрипучий стул, уронила руки на колени и, наверное, заплакала бы, но дверь распахнулась и ввалился Сашка:

— Лика Вадимовна, помочь? — Сашка был самый трезвый вчера: вахта с Петром да и само общение с ним, кажется, делали свое дело. Догоняться на ночь глядя показалось неинтересным, и сегодня Сашка чувствовал себя сносно.

Работа закипела. Сашка выносил мусор, передвигал стулья, расставлял столы, Лика мыла тарелки, кастрюли и все, что попадалось



под руку. Хорошо еще, что завтрак готовить не надо. Торт стоял нерушимым, как Ленские столбы и как верный признак того, что праздник удался.

Ближе к семи появились еще двое: вахтенный Мишка, бледный, как моль, с убойным амбре изо рта, его прислал старпом, чуть позже появилась Манька. Та выглядела свежей, чем-то крайне удовлетворенной, щеки горели, а на пунцовых губках по-змеиному играла торжествующе-подленькая улыбочка, причем настолько откровенная, словно на них огненными буквами было выписано: «Да, я такая — стерва, а что?»

Очень скоро к Маньке мелким бесом подвалил Мишка и глумливо прошипел на ушко:

— Ну ты и шалава!

И едва увернулся, потому что Манька тут же с разворота попыталась врезать Мишке по морде. Впрочем, не достать до рожи обидчика — это был не Манькин случай. Михарезу пришлось отбиваться от пришедшей в ярость фурии. Выражений, которые услышала Лика от Маньки в адрес Мишки, она не слыхивала даже от ленских пропойц. От такого напора Мишка сам оторопел и... пропустил хук!

Синяк высветился небольшой, но позорный. Михарез потом оправдывался:

— Да я что, по-настоящему с ней должен был? Она же баба-дура!

В итоге Мишка, не зная, что делать с этой самой бабой, обхватил ее сзади, завернул руки за спину и навалил на стол. Полетели тарелки, Лика громко вскрикнула, и в дело вмешался Сашка.

Он подошел к борющимся, взял за шиворот Мишку, оторвал от Маньки, вполсилы незлобиво толкнул, и тот долго, гася инерцию, обходил стулья, хаотично расставленные по всей кают-компании. Маньку Сашка немного подержал за плечи и отпустил. Она победоносно встряхнулась, как курица от петуха, гордо отошла подальше от Сашки и провозгласила:

— Да я вас всех... — Запнулась взглядом за Лику, почему-то хмыкнула и как ни в чем не бывало миролюбиво предложила: — Показывай, что делать.

На Сашкином лице появилось подобие улыбки, и белая полоса шрама стала похожей на молнию. И даже Михарез, пожав плечами, ухмыльнулся. К семи тридцати все было готово.

Завтрак прошел на высшем уровне. На чай собрались все члены экипажа. Вина не было, но было видно, что здоровье поправлено и настроение у всех отличное.

Постепенно расшумелись. Вспоминали вчерашнее торжество. А когда ушли отцы-командиры, поднялся настоящий ржач, который



резко смолк, как только в кают-компанию вошел сменившийся с вахты Коля Королев. И сразу пошло криво да косо. Сначала наступила выжидательная тишина. Потом к Коле подскочил опять же Михарез, протянул руку и, когда Коля, несколько растерявшись — с чего бы это? — подал в ответ свою, долго картинно тряс ее. Это было поздравление от имени всех присутствующих мужчин. С чем? Да понятно с чем.

Но Коля почему-то общего чувства одобрения и хорошей зависти не разделял. Более того, сам выглядел как человек, над которым было совершено насилие. И это странное впечатление усугублялось еще больше, стоило только перевести взгляд с Коли на Маньку. Именно она сидела за столом с видом победительницы, картинно положив ногу на ногу и покачивая домашним тапочком с помпончиком. Презрительный, свысока, взгляд ее говорил: «Ну что, старпом, допрыгался? Теперь съем тебя... без хлеба».

Лика какое-то время растерянно переводила взгляд с одного на другого, на третьего. Перед мысленным взором Лики пронеслась заключительная картинка вчерашнего торжества: Коля, висящая на нем Маня, и Лика обомлела от обрушившейся на нее догадки. Боже мой, но ведь Коля женат и нежно любит свою жену Верушу, как он ее ласково называет. Как же так, как же он мог?

Когда все разошлись и Лика с Маней остались одни в кают-компании, Лика уже точно знала: если сейчас подтвердится то, что она про эту бесчестную особу уже знает, то ни о какой дружбе между ними больше не может идти речи. Она отряхнула руки от воды, насухо вытерла полотенцем, повернулась к Мане и... вздрогнула. Перед ней сидела не наглая особа, только что вульгарно размахивавшая перед носом соблазненного ею мужчины своим дурацким тапочком, не Манька и тем более не Мурка, перед Ликой сидела потухшая маленькая девочка, растерянная и несчастная, с огромным вопросом в глазах.

Лике даже захотелось обнять ее, прижать к себе, успокоить, она уже качнулась навстречу этому своему порыву, но взгляд Мани вдруг затвердел, и Лика как на гвоздь наткнулась. «Не смей жалеть!» — приказывал взгляд, и Лика поняла: все что угодно, только не жалость.

— Вот скажи, меня что, вообще любить нельзя? — вопрос прозвучал тихо и страшно. Лика растерянно молчала, Манька продолжила: — Он сразу про эту свою... вспомнил, сразу. Со мной еще лежит — и договаривается, гад, что я этой его Веруше ничего не скажу. — И на большие и без того грустнящие Манины глаза накатились слезы. — Скотина! Скоты все! Все гады, мне что, всю жизнь абортывать?!

Они сидели с Маней в кают-компании, подперев щеки руками, и Маня растерянно, но все равно зло ныла:



— Ну кто такая эта Веруша, почему на ней можно жениться, а на мне нельзя? Вот тебе не завидую, счастья желаю... Тебе, понимаешь? Больше никому никогда не желала! И Верке не желаю. Она — такая же, как я! Почему ей — всё, а мне ничего, понимаешь, ни-че-го?! — В обиженном голосе Маньки все громче и громче становились железные нотки. — Назад вернемся, сразу узнает, какой ее Колечка верный и как ее любит! Если только мыть вместо меня весь корабль не будет всю навигацию!

— Маня, может, не надо? Ну в чем он виноват? Да и будет у тебя муж, обязательно будет. Тебе полюбить надо. Ты как-то все без любви.

— В чем винова-а-ат? — Не расслышав фразу до конца, но услышав ее начало, Манька задохнулась и стала сама собой, злюкой и стервой. — Послушай, дорогуша, ты, конечно, не от мира сего и строишь из себя принцессу, но ты и вправду не понимаешь: мужик — он сам лезет, его на себя не затащишь! Это так говорится — «затащила», да они сами рады стараться. Только потом почему-то почти всегда жалеют! Но ему-то я устрою, он теперь у меня знаешь где? Он так пожалеет, так...

— Я тебе не дорогуша! — Лика встала и почувствовала, что внутри у нее выросла скала, наподобие тех, ленских: «Все-все, с этой вздорной девчонкой покончено. Ей ничего не поможет, ни-че-го!» — И знаешь что, постарайся бывать в кают-компании пореже, только на завтрак, обед и ужин. Если ты поступишь так с Колей, мы больше не подруги!

Были ли они с Маней подругами? Да нет же. Но слово прозвучало и хлестнуло так больно, что Мурка подскочила на диванчике, на котором они с Ликой сидели, долго смотрела на эту вдруг застывшую, а всегда такую мягкую, податливую женщину и, не найдя, что ответить, немой фруией вылетела из кают-компания.

Столица солнечной Якутии показалась Лике большой деревней. Была более-менее приличная центральная площадь с административными зданиями и театром, но шаг в сторону — и можно оказаться в грязи, на деревянных мостках среди неказистых двухэтажных домишек барачного типа, этой странной приметы почти всего Севера. Невзрачными выглядели и местные жители, однако время от времени встречались девчухи-якутки, отличавшиеся какой-то экзотической, лунной, что ли, красотой.

— Лика... Лика! Тебе Манька вчера что-нибудь болтала?

Лика вздрогнула, надо ответить. Они с Петей гуляли по городу. Экскурсия подходила к концу, основные достопримечательности осмотрены, и муж решил, что можно перейти к делу.

— Не Манька, Петя, ну как ты можешь, а Маня, Маруся, наконец! И не болтала, а рассказывала: представляешь, они с Колей были вместе прошлой ночью.



— Ах, они с Колей были... жили, нет, наоборот: жили, были, — дурашливо передразнил Петр. — Напились и переспали! Я бы точнее выразился, да ладно, пожалею твои нежные ушки!

— А чем ты возмущен? — взвилась Лика. — Петя, что с тобой? Николай взрослый мужчина, девочке восемнадцать!

— Но у этой восемнадцатилетней, как ты говоришь, — Петр начал заводиться, — восемнадцать мужиков в арсенале, и девятнадцатого на себя затащила! Мне Николай признался: «Повисла, а я что, железный?»

Это было в десятку. В Ликиной голове тут же воспроизвелось горестное Манино: «Мужик, он сам лезет, это только так говорится: затащила» — и Лика задохнулась от негодования:

— Да хоть двадцатый! Голова-то должна быть на плечах? У него жена, сын только родился, он в обоих души не чает. Какие вы все-таки... мужики! Я и сама хотела поговорить с тобой сегодня, но теперь вижу — бесполезно! — На глазах Лики заблестели слезы.

Пустая болтовня о чужих проблемах неотвратимо переходила в крупную ссору. Надо было выворачивать. Петр знал как: обнять, прошептать в ушко какую-нибудь нежную ерунду, даже посреди улицы. Петр остановился, Лика продолжала обиженно идти вперед. Петр поймал ее руку, развернул к себе, обнял, и его губы коснулись розового ушка:

— Ликуська, ну что ты? Не хватало поссориться. Я тоже обалдел. Что делать-то будем?

— Мы? — Лика отстранилась: — Ты что, люди ведь... — Но оттаяла, приемчик сработал безотказно.

— Николай у меня вчера был, пока ты с этой дурой в кают-компании секретничала. В панике он. Она же невменяемая, сдаст его же не — и все! Он сказал, что Вера измены не простит. Все что угодно, только не измену...

— Я предупредила Маню, что, если она это сделает, мы больше не подруги. — И добавила, вздохнув: — Мы даже поссорились.

— Ну и что, испугалась твоя Маня?

— Не знаю... До возвращения еще так далеко, может, как-то уладится?

Вечером закупались на каптерку. Брали продукты мешками и ящиками. Мука, крупы, сахар, тушенка. Задача Лики — составить список продуктов, остальное — дело каптерщика, коим был назначен помощник капитана по электромеханической части Эдуард Травкин, то есть Эдик-Черноморик. Грузчиками работали рулевые, Серега и Мишка.

В промотделе дебаркадера Лика, вот удача, присмотрела себе кримпленовое платье. На «берегу», как здесь говорили, днем с огнем



не сыщешь, дефицит, а тут на выбор. Запутавшись в рядах вывешенных на обозрение платьев, юбок и блузок, Лика неожиданно наткнулась на ту самую Глазастую, и надо же, вдвоем с Мишки Резника отцом! Думая, что их никто не видит, они, воровато стреляя глазами по сторонам, коротко, но сладко целовались. Заметили Лику. Та, поняв, что ее застали за подглядыванием, так растерялась, что тут же, налившись пунцом, развернулась от вешалок с дефицитом и бросилась к кассе. Пока ждали с Петей очереди, подошли, как ни в чем не бывало, Глазастая и Геннадий Павлович.

Глазастая, которую, оказывается, звали Надей, смотрела глазами невинной овечки. Геннадий же Павлович и вовсе вел себя так, что Лике снова стало стыдно: уж не пригрелись ли ей поцелуйчики те? Ну не может такой серьезный мужчина, капитан, так глупо себя вести...

До кассы было — как пешком до коммунизма, как в те времена острословили. Чтобы убить время, Петр обсуждал что-то производственное с Резником-старшим. Надя и Лика, почти сердечные подруги (торжества, подобные вчерашнему, сплачивают), показывали друг другу выбранные наряды и восхищались вкусом друг друга. Мужчины время от времени поглядывали на женщин.

«Надо обязательно уточнить у Пети», — снова подумала Лика, но что уточнить, теперь уже не очень хорошо понимала.

Рано утром вышли в рейс. Предстоял прямой и быстрый, без захода еще куда-либо, переход: порт Якутск — порт Тикси. В воображении Лики порт Тикси рисовался как какая-нибудь грандиозно-фантастическая станция, поселение на Луне. Лунный пейзаж — все-таки за полярным кругом, — постройки с серебристыми куполами и люди... Как должны выглядеть люди, Лика не могла определить. Она примеряла на жителей Тикси даже скафандры космонавтов, но к окончательному выводу так и не пришла. Оставалось ждать, тем более что было туда каких-нибудь четыре-пять дней пути.

Вечером в их с Петей каюту пришел Коля с бутылочкой сладенького болгарского «Бисера», видимо, знал, что это любимое, на то время, Ликино вино. Когда оно закончилось, Петя на правах хозяина дома выставил водочку, которую, правда, тянул уже один Коля.

К концу вечера Лика и Петр знали всю Колину жизнь, которая была такой счастливой до встречи с этой... заразой. Они еще раз поразились его неземной любви к такой хорошей и правильной Веруше — она ничего такого, что позволяет Манька, себе никогда не позволит, но и его ни за что не простит, если узнает, что он тут натворил. Коля сделался слезливым и обидчивым, и то, что у него трезвого было на уме, запросилось на язык:

— Вот ты мне ответь, как женщина, — Коля обратился исключительно к жене друга, — если я ее убью, нет... утоплю, короче, за



борт выкину... я же буду прав? — И неожиданно и как-то не очень по-мужски признался: — Эта сука меня еще и спать с собой заставляет. А то, мол, точно расскажу.

Ли́ка слушала Колю и чувствовала себя бедной щепкой, плывущей посредине реки и никак не могущей определиться, к какому берегу прибиться. С одной стороны, ей было жаль Колю и страшно за семью, которая может распасться, но с другой — почему Коля возмущается только поведением Мани, когда сам хорош? Маню он утопит... ну тогда и сам топись! Спать заставляет... на этом мозг Ли́ки выключался, представить себе такое она не могла, а значит, и определить свое отношение к этому тоже. Хотя... так ему и надо — предателю!

А Коля, словно услышав ее мысли, вдруг взвился:

— Да виноват я, виноват! Но мне лучше сдохнуть, чем потерять Верушу! — Поднялся и, покачавшись над Ли́кой на нетвердых ногах, нервно всхлипнул: — Да идите вы все... ба-бы! — после чего выскочил из каюты, со всей дури грохнув за собой ни в чем не повинной дверью.

Ли́ка с Петром посидели еще некоторое время молча, значительно поглядывая друг на друга. Нужно было как-то прореагировать, обсудить, что ли, но разговора не получилось:

— Петя, он ее за борт... хочет...

— Кто? Николай? Не смей меня.

Проходили устье Алдана, пережат Турий Взвоз. Выйдя из камбуза и посмотрев с борта нижней палубы на воду до горизонта, Ли́ка решила, после длительного перерыва, подняться в рубку. И снова была поражена красотой и величием картины.

Рекой в этой ее части и в это время года Лену назвать было трудно. Вода разлилась до горизонта, и Ли́ка, еще никогда не бывавшая на море, подумала, что так оно, море, пожалуй, и выглядит. Но были некоторые странности. Например, торчащие прямо из воды кусты, мимо которых они сейчас проходили. Когда Ли́ка спросила про них Серегу, который, как и она, крутился в рубке, хотя вахта была не его, он ответил коротко:

— Затопленные острова.

— А почему они затоплены?

— Да это... черная вода. Ледники тают.

— А-а-а, — кивнула Ли́ка, вышла на мостик, облокотилась на леера и... понеслась над поверхностью воды.

Что же это за река такая, которая как море? И сколько же воды она уносит в далекие соленые моря? Воды пресной, сладкой, живой, такой полезной, такой нужной человечеству. Вот поистине чудо природы, неиссякающее, вечное. Но светлого и радостного чувства не



возникало. Как и в Ленских столбах, от монументальности нарисованной природой картины сдавливало дыхание и уносило в вечность.

Она ведь неспроста, северная огромность. Она была создана давними-давними ведическими божествами для огромных и прекрасных людей. Им, запечатленным в камне Ленских столбов, эта огромность была по плечу.

Вот и здесь они выходят из речной волны, как пушкинские тридцать три богатыря. Выходят строем, растянувшимся вдоль пути следования судна. Они смотрят на проходящий мимо кораблик-игрушку со спокойным любопытством, а судно идет и идет мимо них, а их уже много раз по тридцать три, они — до самого горизонта... Да им конца-краю нет!

Но у них есть одно важное отличие: они без лат и мечей. Ведь их мир был миром любви и счастья, а не войн, потопов и конца света! Хотя... для них он все-таки наступил, конец света.

Стоило Лике подумать о плохом, богатыри стали исчезать в волнах, один за другим, один за другим... Они исчезали безмолвно, так же, как и появились, и только последний, махнув ей рукой на прощанье, проговорил непонятно: «Ни черта не пойму, где мы?»

Лица недоуменно посмотрела ему вслед, пока он совсем не исчез под стальной ребристой поверхностью воды, а потом обескураженно оглянулась на дверь рубки. Она была открыта. Вахтенный начальник, Коля Королев, стоя за рулем и нервно глядяваясь в панораму за окнами, вдруг повторил слова последнего богатыря:

— Нет, какого черта, где мы? Серега, где Мишка? Короче, сбегай, позови Иваныча, а то сейчас приедем!

Между тем на горизонте появилось еще одно судно. Оно шло поперечным курсом.

— «Ленанефть» чапает, — прокомментировал вернувшийся Серега. — Да позвал я его, позвал, одевается, отдыхал он.

Судовая рация затрещала, ожила и недоуменным голосом вахтенного «Ленанефти» произнесла:

— Мужики, вы откуда и куда? — И через паузу: — Вы что, на гусеницах там — по островам шастаете?

Отвечал им уже Иваныч, встрепанный, заспанный и полуодетый, и в таких выражениях, что Лица решила, что ей лучше побыстрее ретироваться с мостика.

Нет, Лике лучше никогда больше не появляться здесь. Неужели примета про «бабу на корабле» действует? Просто она сужена до «бабы в рубке»? Все шло в штатном режиме, шли себе, горя не знали, до того самого момента, когда она опять решилась подняться в эту их рубку.

Лица чуть не рыдала, жалуясь вечером на незадавшуюся жизнь Пете, а тот снова лишь посмеивался:



— Да не ты это. Коля с сердечных расстройств оплошал, створ смыло, а он не понял, голова-то другим забита, вот и залез в острова. Это же чудо, что обошлось. Молодец, не постеснялся Иваныча разбудить. А то хоть стреляйся потом от позора, если бы тут прямо и обсохли! Он же ни о чем думать не может, кроме этих баб своих: Веры да Маньки, черт бы их взял!

Повисла пауза.

Послышался слабый голос Лики:

— А я что говорю? Нет, больше никогда, никогда в эти ваши плаванья...

Но дальше мысль не пошла, потому что Петр протянул задумчиво:

— Да я сейчас и сам поверю... — Но быстро пришел в себя и, отряхнув наваждение, как всегда, выжал из ситуации максимум здорового юмора и пользы. Дурашливо воскликнул: «Ах ты, баба моя, так вот кто во всем виноват?!» — захватил женушку в нежные объятия и, приемом опытного самца уложив на кровать, закончил мысль: — Ну-ка иди сюда, пока ты еще здесь... И твое «никогда» на самом деле означает «всегда».

На следующее утро потерявшая всякое терпение Лика высказывала Мане свое личное отношение к связи Мани с женатым мужчиной, у которого к тому же только что родился ребенок. Никогда бы в другой ситуации Лика не позволила себе лезть в чужие дела. Но в том-то и дело, что на судне люди быстро становятся не чужими друг другу, и поведение Лики казалось уже вполне естественным и ей самой, и Мане, такой независимой, на раз посылающей куда угодно любого обладателя длинного носа.

— Так он сказал, что это я вешаюсь на него? — выслушав монолог Лики, спросила Манька. — Ладно, так и быть, покажу я тебе, кто на кого вешается.

Они сидели, как это повелось, в кают-компании, пили чай и судачили о жизни. Одна замужняя, взрослая, но, по сути, наивная и не имеющая никакого жизненного опыта, кроме самого позитивного, другая юная, но многоопытная, настрадавшаяся. Манька не дергалась, как еще совсем недавно, нет, она уже точно знала, что не Лика, эта красивая, утонченная городская образованная женщина, а она, ленская девчонка из заштатного северного городка, старше, мудрее и больше понимает в жизни. И она ей, Лике, сочувствовала и даже готова была поучить уму-разуму.

Кроме уборки в обязанности матроса речного судна входили стирка и глажка белья. Для этого было выделено малюсенькое подсобное помещение, где стояла стиральная машинка и стол с утюгом.



В этот же день, Лика едва успела прибраться после обеда, на камбуз заскочила Маня и позвала срочно в подсобку — помочь переставить машинку и гладильный столик. Маня убежала, а Лика, составив вымытые тарелки и стаканы в буфет и любовно накрыв оставшиеся от завтрака булочки чистым полотенцем (за ночную вахту порастаскают), не спеша пошла в подсобку, недоумевая, с какой стати Маня позвала для такого дела именно ее — мужчин на судне нету, что ли?

Подойдя к двери подсобки, она услышала голоса. Нет, Лика никогда в жизни не подслушивала, но сейчас повернуться и сразу уйти оказалась не в силах. Потому что из-за двери неслись звуки совершенно определенного содержания. Ворковали два влюбленных голубка. Вернее, один голубок ворковал, другой... так, подворковывал, как одолжение делал. У первого голубка был хриплый и низкий голос Коли Королева, второй хихикал и кокетливо взвизгивал голосом Мани.

Пока потрясенная Лика приходила в себя под дверью, чтобы потом стремглав полететь по коридору, она успела услышать все, что и хотела, видимо, донести до нее Маня.

Коля, несчастный Коля, замученный этой гадюкой Муркой, которая ну просто заставляет его спать с собой, а не то она все расскажет его Веруше и этим разрушит его жизнь, так вот, этот Коля просто умолял Маню (Мурочку его сладкую) прерывающимся, жарким шепотом разрешить ему сейчас, а потом еще и в каюту он придет к ней, к Муреночку, ночью.

— Я три раза стукну двойным, — умирал от желания Коля.

При этом он делал, видимо, что-то еще такое, отчего Маня сдержанно, на низких нотах, но страстно постанывала, на «сейчас» не соглашалась, однако насчет ночи не возражала. Потом слышались звуки поцелуев, и текст опять повторялся.

«Что же это такое? Коля... Ведь он любит, ну любит же эту свою Верушу! Даже сейчас, после всего виденного и слышанного, этого нельзя отрицать! Почему же так? Почему он это делает, зачем?!»

Лика стояла на носу корабля, и слезинки, редкие, но горькие, скатывались по щекам. А она их даже не вытирала, они успевали высохнуть на теплом речном ветерке.

«Они что, все-все такие? Нет, конечно, кроме Пети... Петя так не может, он — не такой и слишком любит меня. Но ведь... и Коля любит?!»

Она смотрела на реку. Но река молчала, ей было все равно. У нее были свои проблемы. Свинцовая твердь воды подкатывалась под стальной корпус корабля и разрезалась им на две части. В конце кормы винт перемальывал воду, как мясо в мясорубке, а река терпела. Нет, она пенилась, бурлила под винтом, то есть злилась, негодовала.



След от огромного, грузного тела корабля с наглым, безжалостно вспарывающим ее тело винтом в корме постепенно сходил на нет, поверхность смыкалась, и наступала обиженная, глухая тишина.

«А я не хочу терпеть. Я — не потерплю!» — мысленно кричала Лика реке. Но река не отвечала. Впервые она не хотела с ней говорить. Да и о чем говорить с этим слабым, смешным в бесконечной своей наивности человеческим существом? Которое думает о чем-то таком мелком, человеческом, когда есть она, огромная, прекрасная река, протянувшаяся по всей Восточной Сибири от байкальских хребтов до Северного Ледовитого океана, ее возлюбленного, к которому она стремится свои воды миллионы лет. Он принимает ее, как и множество других рек. И она, великая Лена, всего лишь одна из многих, к которым он, Океан, благосклонен! Но она — смирилась! А это маленькое, глупое существо, бабочка, живущая на земле одно мгновение, но желающая чувствовать все то, что чувствует она, вечная и великая река, одна из составляющих частей мироздания, она желает вселенской любви, которой нет в полной мере даже у нее.

Но что же делать? Никому и ничему не верить? Значит, и Петя... может обмануть? Вот так бесчестно, мелко, с какой-нибудь другой «Муркой», в какой-нибудь другой «подсобке»? А зачем тогда жить, если в этом вашем «вечном» и «прекрасном» мире все так гадко, грязно и подло, если он просто мусорная куча, свалка, а не мир?!

Но реке было все равно. Она величаво несла себя навстречу своему возлюбленному, Океану. И на этом пути готова была претерпеть все что угодно. Ее поверхность взрывали ветра, но они потом обессилявали, и она, смеясь над ними, бежала дальше. Берега сжимали ее в своих объятиях, и местами ей трудно было протиснуться меж беспардонными стенами-скалами, но она призывала на помощь время и размывала их. Зимы сковывали ее льдами, но она ждала весну, чтобы с первыми теплыми лучами сбросить ледяные оковы и, бурля и торжествуя, начать бесчинствовать: двигать огромные глыбы, нагромождать льдины одну на другую, откидывать их на берега, если они мешали ее стремлению вперед, или тащить их на себе, лишь бы быстрее к нему, к Океану счастья!

Жалкие достижения так называемого человечества: эти стальные ножи-кили кораблей, что вспарывали ее девственную, предназначенную не для них поверхность, эти роющие ее дно бессмысленные механизмы, меняющие без ее согласия рельеф русла, эти пристани-причалы-стенки, укрепляющие ненавидимые ею берега... И сети, которые вылавливают ее рыбу, ее детей, веселых, серебристых, свободных, беззаботных, но таких незащитных перед человеческой алчностью...

Она надменно терпела все это, иногда мстила, проглатывая и корабли, и людей, затягивая их в свое нутро, выравнивая опять по-своему



дно, порой сметая стенки и причалы, хитроумно пряча от жадных сетей неосторожную рыбу. Но, насытившись мезью, снова была готова продолжить свой путь. Ведь впереди ее ждала встреча с ним, Океаном. Тем более что она точно знала: он ждет ее, потому что... она нужна ему так же, как и он ей, он... любит ее!

«Любит... Нет, я не хочу никого больше видеть: ни Колю, ни Маню... Посоветоваться с Петей? О чем, господи: начнет целовать, потом все произойдет, станет смешно. На камбуз надо идти, ужин готовить, как же я забыла...»

Ли́ка, действительно, не хотела больше общаться ни с Колей, ни с Маней. В конце концов, не свет же клином на них сошелся. Через два дня они будут в этом мифическом Тикси, на ледяном море со смешным названием: море Лаптевых.

Жизнь на корабле все более входила в то самое семейное русло, когда все друг друга узнали, притерлись, расставили приоритеты. Идиллии больше не было, но была правда жизни: Мурка так Мурка, Коле досталась, ну, так тому и быть. Неожиданно, конечно, но, с другой стороны, а что вы хотели: какая матроска откажется от старпома, а какой старпом от такой молоденькой и доступной, как эта Мурка?

По вечерам взяли за правило собираться в кают-компанию. Травили байки, ржали, сплетничали жестко, по-мужски.

Ли́ка на камбузе, который был смежным с кают-компанией помещением, слышала все! Ее интеллигентно-наивная внешность вселяла в сплетников странную уверенность, что жена «второго» если что-то и слышит, то ничего не понимает, потому что «не такая». По этой причине, травя самые приватные, самые мужские байки, даже не удосуживались заглянуть на камбуз: есть там кто или нет.

Но как только Ли́ка Вадимовна, порой не выдержав накала историй очередного сказителя, выходила все-таки из камбуза в кают-компанию, все приличия тут же начинали соблюдаться.

Так Ли́ка узнала, что мужчины — сплетники откровенные, безжалостные, особенно к женскому полу, да и к своему брату, если слабину дает. Чего раньше и не подозревала даже: Петя всегда ее убеждал в обратном, что сплетничать — прерогатива только женщин, настоящий мужик сдержан, болтать лишнее — ниже его мужского величия.

Впрочем, разговоры вели не только «ниже пояса». Популярными были истории про то, как некий бравый капитан-механик-штурман, напившись в зюзку, умудрился приползти в рубку на вахту, потерять все створы, залезть на мель. А протрезвев от серьезности создавшегося положения, полночи сниматься с этой самой мели и к утру, замучив всех членов подключившегося к устранению проблемы экипажа, сняться все-таки самостоятельно, не прибегая к помощи аварийных служб близлежащих портов.



Или, например, герои этих сказаний могли устроить гонки на двух грузовых судах, радостно гоготать при этом в своих рубках, готовить «конец», то есть веревку для показа уступившему в гонке экипажу. Уперто, опасно не желать сдать сопернику, идти борт о борт, сблизиться до вступления в силу явления присоса, бабахнуться бортами двух посудин, загруженных порой под завязку, чтобы затем аварийно, страшно и на удивление благополучно разойтись.

А еще — облапошить якутов: например, за бутылку водки набрать рыбы, да какой: осетринки копченой, нельмочки, омулька, чира. Впрочем, слово «облапошить» тут спорное. Для якутов водка, для русских осетринка: ценность для одних — для других разменная монета.

Приятно было вспоминать веселые приключения, при встречах со старыми друзьями взахлеб хвастаться подвигами, но самое главное — гордиться речным братством, потому что никто никогда никого еще пока не сдавал администрации портов и баз, хотя все знали, включая саму администрацию, что, когда и с кем происходит. Но сигнала не поступило, значит, ничего и не было.

Из этих разговоров Лика усвоила, что настоящий речник не тот, который не нарушает, то есть не имеет аварийных происшествий вообще, а совсем наоборот, тот, кто вляпается по самое «не могу», но сам потом из этой субстанции выберется с минимальным уроном.

«Ох, хорошо, что на нашем судне ничего такого нет, — наслушавшись всех этих жутких историй, думает удовлетворенно Лика. — Ну, во-первых, нет пьянства! Иваныч всех в ежовых рукавицах держит: сам не пьет и чтобы экипаж ни-ни. День рождения, правда... но это скорее исключение».

Иваныч, конечно, не зря пользуется славой зануды не только в собственном экипаже, но и в целом порту. Зато спокойно и дисциплина. К нему идут, кто хочет и навигацию пройти, и заработать при этом. А кому надо, чтобы «было что вспомнить», у тех он не в чести.

Молодежь, конечно, разочарована. Серега с Мишкой вообще ворчат. Лика улыбается у себя на камбузе, когда слышит сетования пацанов, что вот, мол, скука смертная уже вторую навигацию. Один раз побродили среди островов, и то потому, что старпом затупил. Иваныч, блин, совсем озверел: не делает вид, а на полном серьезе гайки закручивает, ни вздохнуть от его «сухого закона», ни охнуть. Михарез так вообще подумывает, не к отцу ли улизнуть в следующую навигацию. У него интересно. Отец-то и сам выпить не дурак, и бабы водятся, весело у них. И так же план выполняют. В общем, сыто, пьяно и нос в табаке.

— А мы с тобой, Серега? — вопрошает он друга. — Монастырь какой-то, а не корабль!

Черноморик, то есть Эдик Травкин, тоже подливает масла в огонь. У них-то на Черном море только драконы трехглавые не водятся, а так



всего в изобилии. И какого черта он в эту скучищу сибирскую приперся. Там, на Черном море, все по-другому, там и сам Эдик совсем другой — отважный, сильный, ловкий. Один раз спас даже тонущую девушку, из отдыхающих. Красивая...

— Я, когда ее на песок вытянул, а у нее, ну, этот, купальник стащило, пока я с ней боролся. Они же, тонущие, цепляются, их ни в коем случае нельзя к себе подпускать. Вцепится — всё, и сама утонет, и тебя утопит. Лежит такая, а у нее... — смакует Эдик. — Очнулась, поняла, что голая, соскочила и бежать, стыдно стало. Меня потом ее родители благодарили.

Эдику верили и не верили. Он и на торговом морском судне матросом ходил, и не укачивает его вообще. Всех укачивает, рыгают, жизни не видят во время качки, а ему хоть бы хны.

— Да мне сам капитан круизного лайнера говорил: тебе, Эдуард, сам бог велел моряком быть, потому что качки не боишься. А меня вот сюда выслали. Приеду, я с ними со всеми разберусь, — грозил Черноморик. — И вообще после училища в мореходку поступать буду! Я — моряк! А не какой-то там... — Эдик договаривать с некоторых пор опасался, один раз уже получил внушение от Сашки. Тот слушал-слушал да и поднес волосатый кулак к тонкому греческому носу Черноморика:

— Ты, моряк хренов, потише про Лену-то. Мы тебя тоже чтобы в последний раз здесь видели!

Михарез с Серегой слушали уважительно. Черт его знает, как на этом его Черном море, может, все так и есть. К тому же ни тот, ни другой там никогда не были. Лику тоже пока еще не довелось. С Петей они собирались съездить как раз после этой навигации, вот заработают денег и поедут. А до этого... Родители у Лику — учительница да врач, особо не разбежишься. Петя, тот каждый год со своими ездил: папа у Пети главный инженер на заводе, а мама — по профсоюзной части.

Лику сидела с ребятами, слушала их болтовню — и вдруг рассмеялась. Ей показалось страшно смешно, что она, сибирячка, материковый житель, для которого увидеть море — верх мечтаний, его скоро увидит. Но... какое? Не Черное, не Красное, не Желтое даже, а... море Лаптевых! Ну кому еще такое доведется?

Вот уж занесло так занесло!

Наконец-то вошли в Быковскую протоку. Это произошло так. Лику пришла в рубку. Да-да, опять. Не по доброй воле — Петя силком затащил. Он решил убедить жену, что никаких примет нет, а есть простые совпадения. И никакая «баба в рубке» ничего не убавит и не прибавит, если на то нет других, совершенно объективных причин.

Лику предупредила:

— Ну не плачьте тогда, если что!



И в рубку поднялась. И — не узнала реку! Это была узкая, мощная, стальная вена! А где ширь, где водный простор от горизонта до горизонта? И берега: они изменились до неузнаваемости. Слева мокро-зеленая поверхность тундры. Лика сразу догадалась, что она видит именно ее, тундру, над которой низко-низко висела серая тяжелая гладь неба. Справа — высокие, абсолютно голые каменные сопки.

Долгие тысячелетия гладили их колючие ветра, закаливали лютым холодным огнем морозы, на короткое время обласкивало, старательно дотягиваясь теплыми лучами, скромное, зато не заходящее целых два с половиной месяца заполярное солнце.

- Петя, а северное сияние я увижу?
- Осенью, если повезет... поздней. Если тут будем.
- Значит, не увижу? — разочаровано протянула Лика.

Через день вошли в море Лаптевых. По-настоящему это был всего лишь бар Лены, а не самое море. Речные суда по морю, слава богу, не ходили. По прибрежной черте были выставлены поворотные буи, вот по ним, а не по звездам и морским картам, шли плоскодонные речные грузовые суда. Но речники по-простому, ну и чтобы приятно для себя любимых, называли это все-таки морем.

Лика была на камбузе. Корабль шел себе и шел. И вдруг под днищем зашуршало, потом истерично, как железом по стеклу, взвизгнуло, корпус содрогнулся, да так, что Лику, стоявшую у печи и что-то мешавшую в кастрюле, бросило на разделочный стол, кастрюля съехала по плите до бортика, плеснула горячим и остановилась. Погас свет, и стало темно, как в погребе. И в этой темноте виден был лишь серый, лунный кружок иллюминатора в двери, выходящей на протопчину.

Ко всему прочему накрыла тишина. Лика оторопела. Она никогда не знала, как поведет себя в экстремальной ситуации. Потом вспомнила с некоторым уважительным недоверием к себе, что не растерялась, не испугалась, а совершенно хладнокровно сначала привыкла к темноте, потом послушала тишину, не загремит ли еще где-нибудь, затем, сориентировавшись в помещении камбуза, спокойно на ощупь нашла выход из него в жилые помещения и, придерживаясь руками за стены, стала подниматься на вторую палубу, где были расположены каюты членов экипажа. Вот здесь-то на нее и налетел Сашка, бросившийся разыскивать ее по просьбе Петра, так как сам Петр не мог оставить командный пункт в момент нештатной ситуации.

В рубке собрался почти весь экипаж, а до горизонта, сколько хватало взгляда, раскинулось долгожданное море Лаптевых!

Иваныч с Бузукой совещались. Отрывистые фразы: «Вот ведь угораздило... на буй нанесло... отмель... свет вырубил... аварийка... перезапустить» и т. д. перемежались почти миролюбивыми вставками ненормативной речи.



Именно в этот момент снизу, из жилых помещений послышалась какая-то странная возня, сопровождавшаяся скулением. Раздались шаги тяжело, но торопливо поднимающегося по крутому винтовому трапу человека, буханье по этому трапу чем-то тяжелым, и наконец состоялось явление народу: сначала маленького Черноморика, а затем большого чемодана, который тот зачем-то тянул за собой.

Наступила тишина. Все смотрели на практиканта-электромеханика, а он, запыхавшийся, весь потный, красный как рак, затравленно озирался по сторонам.

— Так это... полундра же, тонем? — вопросительно-утвердительно просипел бедолага и... тут же втянул голову в плечи и даже руками ее, бедную, закрыл. Потому что на нее обрушилось здоровое, яростное ржанье молодых глоток, которое не смолкло для Черноморика до конца навигации.

Бузука, насмеявшись первый, поднял руку, снова стало напряженно-тихо, все вспомнили, что они на мели, и не где-нибудь, а в море Лаптевых.

— Видно, на каждом судне должен быть свой придурок, — вздохнул механик, но вдруг сделал страшное лицо и заорал: — Ты-ы, «полундра», ма-а-арш в машинку! И чтобы свет мне был, иначе я сам тебя утоплю! — И уже спокойно: — Александр, сбегай с ним, помоги там этому... электромеханику, мать его.

Но это было еще не все. Потому что Черноморик не напрямик бросился исполнять приказ сурового механика. Нет, Эдик Травкин, сделав какой-то странный скачок в сторону чемодана, снова ухватил его за ручку, при этом неотрывно глядя на багровеющего Бузуку, и отпустил поклажу не раньше, чем Сашка, ухватив его самого за шиворот, как бестолкового котенка, отряхнул от чемодана, подтащил к трапу, а потом и вовсе спустил вниз, в зияющий темнотой люк. Послышалось падение тела, жалобное «А-а-а!», хриплое: «Да шевелись ты... Полундра!» — и все смолкло.

Так Черноморик получил еще одно прозвище, а Ленский бассейн — анекдот, как один крутой моряк с одного южного моря чуть не потонул в море Лаптевых и побежал спасаться, да не один, а с чемоданом.

Свет включился, двигатели запустили, стали сниматься с мели.

Бросили якорь на рейде порта Тикси. И уже скоро оказались на берегу. И вот тут-то Лика испытала, впервые, может быть, в своей жизни, глубочайшее разочарование. Потому что никакого космического поселка, даже следов его, не увидела.

Да и люди в скафандрах не ходили. Обычный северный поселок, обычные скучные люди, часть жителей русские, часть якуты. Суровое низкое небо, серая гравийка чуть не по центральной улице поселка,



где-то серые, где-то выкрашенные в нарочито яркие цвета жилые двух- и пятиэтажные дома, все как один на сваях, по-другому здесь и не строили.

То ли заспанные, то ли уставшие, худосочной в основном комплекции люди... Север, Север, как ты не соответствуешь ни своей величавой огромности, ни суровому романтическому образу, ни своему великому предназначению. Почему ты высасываешь соки из тех, кто служит тебе, зачем ты замораживаешь их чувства?

Ли́ка с Маней гуляли по Тикси, пока Петр с Иванычем ходили по делам в управление порта. Маня была грустная и какая-то напряженная. Ли́ка ничего не могла понять. Потом решила: оттого, что долго не общались, — и почувствовала себя виноватой.

Нет, конечно, она не должна была вести себя так с Маней, игнорировать ее. Ведь Маня всего лишь маленькая девочка, заблудившаяся овечка, надо ее чем-то отвлечь от грустных мыслей. Но та не поддерживала разговор, и все темы, какую ни возьми, неуклонно сползали в дорожную пыль или растворялись в односложных Маниных ответах.

Зашли в пару магазинов, рассеянно прошлись глазами по полкам. Не зацепившись взглядами ни за что, вышли и направились к зданию Тиксинского портоуправления, чтобы там соединиться с Петей и Владимиром Ивановичем и уже вместе пойти на берег, погрузиться в шлюпку и вернуться на судно. Уже почти у дверей портоуправления Маня тихо позвала Ли́ку, та шла чуть впереди, и, когда она обернулась, просто сказала:

— Я, кажется... беременна. — Сделала паузу и добавила: — От Коли.

Потом долго смотрела, как меняется в лице Ли́ка, как округляются ее глаза, как появляется на лице то самое растерянно-беспомощное выражение очень доброго человека, готового, но не могущего немедленно прийти на помощь слепому котенку, тонущему щенку или молоденькой дурочке, которая непонятно для чего связалась со взрослым мужиком, нисколько ее не любящим, да еще и забеременела от него, и вот теперь не знает, что делать.

— Я... жить не хочу. Утоплюсь на обратном пути.

Неизвестно, кто выглядел более несчастным, Маня или Ли́ка. Наверное, Ли́ка. Потому что Манька уже смотрела зло и непримиримо. И когда Ли́ка, поведив какое-то время беспомощно руками и похватав ртом воздух, созрела для того, чтобы хоть что-то произнести, жестко прервала:

— Тише! Идут. Смотри, никому пока!

Действительно, из дверей портоуправления выходили Владимир Иванович с Петром Родионовичем, оба чем-то очень довольные.



— Он на мне женится, если все подтвердится, — говорила Маня Лике вечером того же дня.

— Что значит: все подтвердится? Ты что, еще не уверена? — не понимала Лика.

— Да в том-то и дело, что уверена я! — На глазах Маньки снова и снова закипали слезы. — Дни эти... не пришли, а это — все! Что я, первый раз, что ли?

— Маня, ну, может, все-таки ошибка? — не могла поверить до конца в происходящее Лика.

— Если бы ошибка! Да в первый же день я залетела, понимаешь, на Мишкин день рождения. Тогда ведь пьяные все... Потом-то я предохранялась, да поздно уже.

— Может, все-таки...

— Может, может... да не «может» уже ничего! — И вдруг, развернувшись к Лике всем корпусом, неожиданно выпалила: — А он бросит эту свою Верушу! Слышишь? И женится на мне! Ему сейчас без разницы: я или она. Все, я теперь жена старпома! Поняла?

— Маня, но ведь Вера-то ни в чем не виновата!

— И я — не виновата! И мы теперь с ней на равных, поняла? На равных! У нее Толичка, а у меня будет... Количка! Специально в честь него назову.

Нет, с этой Маней просто невозможно. На равных она. Лика сама начинала злиться:

— У вас только одна разница...

— Разница? Это какая же? Ну-ка объясни мне, дурочке, — взвилась до визга и Манька. — У нее ребенок, я — беременная, спит с обеими! — взхлеб перечисляла Маня.

— А любит он — Веру! А тебя — нет! — выпалила вдруг Лика. — Вот ты... можешь это понять? Вот ответь мне, можешь? Он ее просто, просто, просто — любит! И у них не по пьянке все случилось, а он ухаживал за ней, в любви признавался, цветочки дарил. Тебе... дарил кто-нибудь цветы хоть раз в жизни?

Лику словно прорвало. Никогда она никому не сказала бы таких злых слов, но ее понесло, и она не могла остановиться до тех пор, пока вдруг не глянула на Маньку и... осеклась, замолчала испуганно. Потому что снова не узнала сидящую перед ней злую девчонку. А злая девчонка словно в первый раз слышала такие простые вещи, о которых кричала ей в лицо Лика. Она словно обжигалась о каждое слово, наполненное таким простым, до слез, до истерики, смыслом. И это было так больно, так невыносимо, так бесконечно унижительно, наконец.

— Маня, Маня, да ты... не подумай: я не это...

Но Маня уже медленно, как лунатик, шла к двери.



— Маня, ты извини меня, — слышала она вслед растерянное. — Маня, ты только смотри, не выдумывай ничего, ладно...

— Не выдумывать? — Маня повернулась к Лике, поглядела на нее невидящим, как сквозь стену, размытым каким-то взглядом: — Смотреть... ах, вот оно что! А я... подумаю... обязательно подумаю, я... посмотрю! — И вышла из кают-компания.

Лика, которая во время пламенной речи стояла, упала как подкошенная на кают-компанейский диванчик и в ужасе и растерянности всплеснула руками: «Она же может... с нее же — станется! Что делать, что делать?»

Обратно порожняком на Осетрово их не пустили.

Бросили на плечо: Тикси — Жиганск.

— Там «крокодилов» паузят. Приказ начальника портоуправления, — объяснил дальнейший план Петр. — Иваныч очень довольный. А что это с тобой? Вы какие-то с Манькой не такие. Поссорились опять, что ли?

— Петя... Петя! Посмотри на меня, каких «крокодилов», что значит «паузят»? Ты не заболел? У тебя температура?

Петр рассмеялся:

— Господи, Ликуська, да «крокодилы» — это тоже танкера, только большие, прозвище у них такое. У них грузоподъемность две восемьсот, озерное плавание запрещено. Они в Жиганске переваливаются в нас, а мы уже дальше работаем, Жиганск — Тикси, — наставительно пояснил Петр. — Так что у вас случилось, спрашиваю?

— Да ничего... — Лика усваивала Петину информацию, поэтому рассеянно, как ни о чем, продолжила: — Маня беременна... от Коли.

— Что-о-о? А он... знает?

— Маня просила не говорить. Она сама ему скажет.

Из моря Лаптевых вышли без приключений. Быковскую протоку проходили долго. Лика специально вышла на палубу, надеясь не упустить момент, когда протока соединится с основной массой воды. Все было, как она себе и представляла: река — и, словно пальцы на руке, несколько проток веером. Наткнулась взглядом на Столб, еще одно ленское чудо. На пути в Тикси она его не успела рассмотреть, обед как раз кипел и шкварчал на плите, и пообещала посвятить этому возвращение.

Столб на столб ну совсем не был похож. Скорее — огромный утес с крутыми боками и плоской вершиной. И стоял как раз в точке, откуда расходились все ленские протоки, судоходные и несудоходные. Это было значительно и наверняка неспроста.

Будто некий символ древнего, того самого, фундаментального мира. Как центр вселенной, как камень Буян...



Эврика! Ну конечно же, камень Буян, именно он! Весь ученый мир гадает, где он. И как всегда, ларчик открывается просто. Искомое лежит у тебя под ногами, да что там, оно лезет в глаза, оно встает у тебя на пути, оно заслоняет горизонт!

Взгляд упал вниз, и она увидела Маню.

Маня стояла на нижней палубе, как раз под Ликой, и тоже смотрела на камень Буян. И Лике снова стало остро тревожно. Что же все-таки будет? Камень Буян, ты же волшебный, подскажи.

И не успела Лика обратиться к камню, как снова произошло нечто необъяснимое. Камень, стоявший незыблемо, вдруг покачнулся, его тяжелое основание задрожало и пошло волной. Лика стала протирать глаза. Нет, не может быть. Но в следующий миг она их открыла широко и, уже не мигая, забыв про все на свете, стала безотрывно смотреть на невероятное, необъяснимое, такое, чего не может быть никогда. Камень... Столб... Буян не Буян, но эта огромная глыба, остров, сопка, это величайшее произведение природы стало отделяться от воды. Оно воспарило над поверхностью реки! И в следующий момент величаво, медленно поплыло над свинцовой гладью!

Лике хотелось крикнуть: «Довольно! Ну довольно же, сколько можно? В Щеках, в Столбах, теперь здесь. Сколько чудес, сколько удивительного в тебе, река. Ты все время хочешь поразить. Но это же неправда, этого не может быть. Вот сейчас мираж исчезнет и останется одно только простое до банальности объяснение, от которого сразу станет скучно. Тогда зачем это все, это чудо, этот восторг перед великой силой природы?»

Но остров Столб — или камень Буян? — все плыл и плыл, гордо и величаво. Словно хотел сказать: «Нет, на этот раз ты ошибаешься. На этот раз не мираж. Это — правда! Правда природы, правда красоты, которая не устает удивлять. Да и то, что поразило тебя раньше, это тоже была правда. Хоть тебе и объяснили что-то, но ты не верь им, объясняющим то, про что они и сами не знают, не ведают. Верь глазам своим, ибо вот та самая истина, которую все хотят постичь, да не могут понять, что истина рядом, она вокруг вас, людей, она на каждом шагу, а вы не видите, не слышите, не знаете да и не хотите ее знать!»

Лика отчаянно затрясла головой и стала судорожно оглядываться вокруг себя.

Камень Буян плыл, и она не могла уже с этим мириться. Ей уже ну просто было необходимо хоть какое-то объяснение, простое, обычное, от которого станет легко и смешно. Ей необходим был Петя, но его на этот раз не было рядом. Опять он в своей рубке! Да что же это такое? Маня... она-то где?

Маня стояла все там же, на нижней палубе, и около нее Серега, а с ним и Мишка. Все трое жестикулировали, что-то горячо обсуждая.



Как они могут о чем-то говорить, когда такое творится? Она подняла глаза вверх. На мостике еще трое: Бузука с Иванычем, недалеко от них Черноморик. Да весь экипаж высыпал на протопчины корабля и в изумлении смотрел на плывущий над водой волшебный остров.

Наваждение оборвалось, как всегда, неожиданно. Корабль дал гудок, чуть-чуть развернулся на створы, и остров Столб — или камень Буян — опустился в воду и замер. И стало понятно, что он никогда и не парил над водой, а вот так основательно и стоял в этой самой пучине, как века, как тысячелетия до и как будет стоять после. Над ним может парить все что угодно, мимо него могут двигаться, идти, плыть, грести какие угодно чудеса, а он будет стоять незыблемым столпом, символом Севера и неперенным атрибутом великой реки.

— Какой волшебный остров, какой камень Буян, Ликочка, ты о чем? — давал лекцию экипажу вечером, после ужина, с особенным ударением в сторону прекрасной поварихи, очередной объясняющий, на этот раз — Дмитрий Николаевич Бузука. — Ну да, местные считают его священным, но мы видели обыкновенный оптический эффект, сплошная физика: воздух холодный, а вода с юга прет, она теплее, у поверхности лучи света искажаются, понятно? Нет, сам я видел все это, как и вы, впервые. Но я слышал от местных, знающих. Да, самое главное: говорят, кому это покажется — верный знак — на счастье! А если экипажу целого корабля, вот как нам сегодня, сто процентов: навигация пройдет без сучка-задоринки. Мол, река благосклонна, коль такое показывает! — И мечтательно прибавил: — Эх, еще бы северное сияние нынче! Его-то я лицезрел не раз, но чем больше эту красоту видишь, тем сильнее хочется еще и еще! Ну, бог даст, с сентября начнет полахать.

Пока шли до Жиганска, Лика почти жила на баке корабля. Каждую свободную минуту она бежала туда, в тишину и благолепие мира прекрасной реки с женским именем Лена.

И однажды к ней присоединилась Маня. Они стояли рядом и молчали. Потому что уже сказали друг другу и знали друг о друге все! Они были похожи на сообщающиеся сосуды, почти достигшие равновесия. Нет, пожалуй, до равновесия далековато, слишком узкое горлышко в месте соединения, но и не было уже того резкого, безапелляционного отрицания жизненных установок друг друга.

Обе словно увидели иной мир, мир до сих пор ими не виданный. Для Лики люди, живущие в Манином мире, пусть грубоватые, менее образованные, более подверженные всевозможным порокам, все-таки виделись уже нормальными людьми. Просто они жили на другой планете, с абсолютно другими, более жесткими условиями существования. И жили они так, как только и можно жить и... выжить, черт побери, на такой вот несовершенной планете.



Маня же, едва почувствовав, что Лика для нее — инопланетянка, решила, что рано или поздно окажется на этой, на лучшей планете. Она на такую, Ликину, планету переселится и... обживется на ней! Как? Она еще не знает.

«Да я и так уже без пяти минут жена старпома!» — неожиданно подумала Маня и тут же подозрительно, вкось, глянула на Лику. И не ошиблась: Лика словно услышала и сразу же задала вопрос:

— Ну и что ты решила?

Лика спросила почти безразлично. Она устала удивляться. Да и чему? На Маниной планете может происходить все что угодно, ведь это ее планета. На что тут же услышала, как всегда, нелогичный, но безапелляционный ответ:

— Аборт... я — не сделаю! Вы даже не надейтесь! — Обида на «всех» накатила и плеснула, как волна в борт судна, которое только что шло по абсолютно спокойной воде.

— Маня, да кто надеется? Кому надеяться-то? — осторожно начала Лика разговор. Но он снова оборвался:

— Коле! — сказала, как камень бросила, Маня. И добавила мстительно: — Я рожать буду — для него!

— А ему это... надо?

Лучше бы Лика не спрашивала. Толку-то? Да и спросила она... как-то нечаянно, вырвалось.

Манька только что не зашипела и клыки не показала. Тут же развернулась на одной ноге и, оскорбленная, злая, бросилась прочь — от Лики, от этой жизни проклятой, в которой все — им, а ей — ничего!

Поговорили, называется.

Вечером убитый новостью Коля пил в каюте Вербиных. Ни Лика, ни Петр ничем не могли ему помочь. Они могли только слушать и сочувственно кивать головами. Потому что никто даже представить себе не мог выхода из этой жуткой ситуации. Конечно, аборт был бы выходом. Плохим, ужасным, но... не таким и ужасным, для того времени. Увы и ах.

Но Лика уже поведала о разговоре на баке виновнику торжества. Маня аборт не сделает, раз уж заявила. Надо знать Маньку, а они ее знали.

Коля плакал. Он напился уже второй раз в каюте у Вербиных, и это было второй раз в его жизни. До этого мужик не пил почти совсем. Нет, в монахи он не норовил, но среди прочих точно слыл трезвенником. За что его и уважали, когда надо, а когда надо — и в вино ему ставили. Но Коле было все равно. Он жил интересной, самодостаточной жизнью. У него был дом, который надо было все время обустраивать. Дом требовал трудолюбивых мужских рук, а они у Коли были. Когда уж тут по друзьям с бутылками бегать? Дом достался от родителей,

правда, рано ушедших, но он Верушу как раз встретил, а тут и сына бог дал. Что ему еще надо?

Теперь же Коля все время лез пятерней в густую темно-русую шевелюру, теребил ее, как будто часть волос хотел вырвать с корнем, размазывал по щекам слезы и в тысячный уже раз заплетающимся языком одно по одному бельмесил:

— Я ее убью, суку, убью! Я ее за борт... Не будет она! Сделает, никуда не денется. Не надо мне никакого Колички! — Про имя будущего ребенка он уже знал, а так как Лика ему не говорила, значит, от самой Мани. — У меня Толичка есть, слышите! — рыдал несчастный отец будущего Колички.

А Лика слушала Колин голос, и в ее голове самым предательским образом отдавался, из-за дверей подсобки, совершенно другой текст: «Я три раза стукну двойным...» — стонал Коля. А теперь этот же самый голос, так же с придыханием и так же умирая от желания сделать это, обещал убить, утопить.

Коля становился невозможным, и его надо было уводить. Что и было сделано Петром. Когда он вернулся, то высказал тревогу, что за Колей теперь глаз да глаз нужен.

— Коля, конечно, слабак... на такое, — попытался подвести к общему знаменателю все только что произошедшее Петр, — но больно уж ситуация не слабая... как бы не наворочал.

Предпоследним рейсом проходили Тит-Ары. Левый берег Лены, пески, там промышляют знаменитую ленскую рыбу. Омуть, чир, муксун, ряпушка, попадаетея и царь-рыба нельма. Улов лежит серебристой горой прямо на заснеженном уже песке. Суда причаливают одно за другим. Начинается торг с якутами.

Вот тут-то и нужен коммерческий талант и способность договориться с кем угодно и о чем угодно бравого механика Бузуки. Иваныч своим присутствием добавляет значительности действию, но особо не вмешивается. Тут же Коля и Петр, рядовой состав используется в качестве грузчиков.

Все довольны, все заинтересованы. В этом деле неважно, старший ты или младший, все получают столько, сколько готовы унести, сколько бочек и иной тары стоит на палубе, сколько денег в кармане.

Рыба имеет не только пищевую ценность, но и коммерческую. По возвращении в порт приписки вокруг судов, пришедших с навигации с рыбой, начинается суэта: каждый не плававший или же плававший, но не доплывший до благословенных рыбных мест хочет купить у экипажа излишки.

А скольких еще надо одарить, угостить, уважить, облагодетельствовать! Русский человек прост и размашист, сидеть на богатстве не



будет, а будет всю зиму ходить по гостям, непременно с завернутой в газетку парой омульков. Хозяева довольны, а уж у самого гостя самооценка повышается в разы. Поэтому все работают споро, ведь заход в Тит-Ары — несанкционированное мероприятие, по головке не погладят, если узнают. Но, как уже говорилось выше: знают, не знают, но делают вид, что не имеют понятия...

Уже вскоре на палубе теплохода вырастает серебристая гора рыбы. Бузука с Иванычем уважительно прощаются с рыбаками-якутами. Бузука многих из них знает по имени-отчеству, они к нему тоже относятся с уважением: хороший мужик, друг. «Будешь на будущий год, заворачивай, продадим сколько надо».

Отчалили — и началась засолка купленной рыбы. Бузука, Иваныч, Коля, Сашка в этом почти профессионалы. Четкими, быстрыми движениями укладывают в пятидесятикилограммовые бочонки рядами, спинка к спинке, слой за слоем, «хвосты». Уплотняют, любовно охлопывают ровно выложенный слой, бросают горсть соли, снова выравнивают... и так до самого верха, бочонок за бочонком.

Все предельно просто и необыкновенно вкусно... будет потом, зимой, долгой и морозной. Выйдешь в сенцы, зайдешь в кладовку, откроешь бочонок, вот этот самый, который теперь затариваешь, и любовно вынешь из него ледяного, серебристого, рясного омулька, которого сейчас как раз посыпаешь солью и похлопываешь, чтобы хорошо подогнался к товарищам, не выпячивался, не нарушал гармонию единения всех со всеми.

А потом, в кухонном тепле, на столе, на котором уже стоит-томится запотевшая бутылочка, ну и прочая снедь, дымится картошка, надо дать этому красавцу отойти, подтаять, но не до конца, нет. Резать надо, когда только-только, чуть-чуть оттаяет и поддастся ножу. Нарезать следует... ну кто сказал, что тонкими прозрачными пластиками? Это тот, кому две рыбки в газетке принесли. Вы будете нарезать у себя дома, для себя и своих гостей щедрыми бело-розовыми кусищами и кидать их на огромное, стоящее посреди стола блюдо горой, примерно такой же, какая сейчас все еще красуется на палубе или даже там, у якутов, на бело-холодном заснеженном берегу...

А за полярным кругом становилось действительно холодно. В последние дни сентября выходили из Тикси в последний раз. Крайний Север словно прощался с кораблем, который все арктическое лето проработал на него и его людей, остающихся здесь на всю долгую суровую заполярную зиму. Было безветренно, прозрачно, мягко, комфортно, что ли, хотя и не тепло.

Внутри корабля все как прежде: и тепло, и по-домашнему уютно, но Лику тянуло на воздух, она, кутаясь в кофту, все время выходила на



мостик. Вахта была Петина, он просил ее побережься, и она, лишенная возможности бывать на теперь обдуваемом холодными ветрами баке, грустила, потому что чувствовала, что видит все это в последний раз. Она не хотела с этим мириться, она привыкла к реке, полюбила ее, она хотела быть с нею всегда, но понимала внутренним чутьем, что этого не будет, потому что ее жизнь не такая и ее предназначение не в этом. Но какое же сожаление она испытывала от осознания этой, в общем, простой истины! В таком настроении прощания с чем-то ставшим ей очень дорогим и полюбившимся она, переделав все текущие дела, уснула было в каюте, как вдруг ворвался Петр и стал трясти ее за плечо:

— Лика, Ликуська, вставай! Северное! Слышишь? Сияние!

Она как сумасшедшая бежала в рубку. Еще когда карабкалась по крутому внутреннему трапу, посмотрела вверх — ойкнула: квадрат люка светился изумрудным светом!

— Быстрее, быстрее! — торопил Петр.

В рубке собрался весь экипаж, но никто даже головы не повернул в сторону вновь прибывших. Все, как лунатики в лунную ночь, стояли и замороженно смотрели в панорамные окна рубки. А там... происходила сказка! Настоящая, удивительная, бесподобная, которую рассказывало им ночное небо. И рассказ этот был про какую-то совершенно иную жизнь, может быть, даже жизнь богов, которые почему-то время от времени решают являться людям в таких вот аллегориях. Хотите — разгадывайте, не хотите — просто любуйтесь, просто задерживайте дыхание, но смотрите! Это не будет продолжаться долго на ваших глазах, но в вашей душе это будет жить всю оставшуюся жизнь.

Боги подсмеивались над людьми, не желая показываться явно, они прятались за волшебные изумрудно-зеленые занавеси. И эти небесные платы всех оттенков изумрудного колыхались, отклонялись, завихрялись, готовые показать тайну, но не делали этого, а в последний момент сдвигались еще плотнее, при этом загадочно мерцали, сияли. Глубоко-зелеными они были внизу, выше становились тревожно-розовыми. Они словно звали к себе, манили, обещали, что там, выше, все по-другому, а эти темно-зеленые нити, которые спускаются к земле, они лишь концы, за которые надо ухватиться, чтобы потом вскарабкаться туда, к райскому свету и теплу. Волшебные потоки колыхались, переливались, словно смеялись над людьми, не желающими покинуть холодную, неприветливую земную твердь, как будто они что-то на ней нашли хорошее или еще надеются найти, как будто земля им мать родная, а не злая, надменная мачеха. Но люди не знали, где на самом деле лучше, они сомневались. А северное сияние переливалось, манило, звало, обещало и потом смеялось над глупой людской неуверенностью и непонятному для них, богов, желанию пройти свой адский земной путь до конца.



— А я бы с удовольствием... — в благоговейной тишине раздался голос, и это был голос Мани. — Туда... от всех вас!

И все присутствовавшие в рубке дружно, как один, повернули головы к ней. Нет, не надо было ей этого говорить сейчас. Потом, может быть, но не сейчас. От простого, такого земного голоса волшебная картинка пропала. Все, абсолютно все было по-прежнему, изумрудные занавеси волновались в черных заполярных небесах, но сказки не было, а было физическое явление, малоизученное, но известное с древних времен, связанное с магнитосферами, солнечными ветрами, магнитными полями и еще бог знает с чем. Это снова объяснит механик Бузука, потом, в кают-компании, после ужина, слегка высокомеря перед разинувшими рты юнцами и откровенно рисуясь перед красивой женщиной, прекрасной поварихой. Но это будет позже, а сейчас все смотрели на Маньку — почти так же заворожено, как мгновение назад на небесные чудеса.

— Мань, ты чё? — раздался голос, кажется, Мишки. — Туда захотела? Давай мы тебя подсадим? Ты полетаешь, потом расскажешь.

Мишка шутил и, когда Иваныч ни с того ни с сего вдруг приржавкнул на него: «Ну-ка ты, прикрой рот!» — ничего не понял.

— Так я чё? Она же...

— В машинку, быстро, ты на вахте. Чего не видел? Ну, северное, ну, сияние... — И, сделав паузу, неожиданно выдохнул: — Господи, какая все же красота!

Нужна была оленина. Ее не хватало для счастья. Запастись на зиму и мясом к рыбке — верх удачи. Не успели подумать, как подвернулась промысловая якутская баржа, забитая этой самой олениной, что называется, под завязку. По какой-то причине якуты не могли доставить ее в пункт приемки сами, поломка буксира, что ли. Главный из них прослышал, что на танкере, который подходит снизу, работает Николаич, то есть Бузука, его давний друг. Была совершена сделка, и всю ночь танкер тащил баржу куда надо.

В результате все оказались довольны: и речники якутам помогли, и те их, не скупясь, отблагодарили мясом, кинули в придачу пару шкур и оленьи рога. Поздно вечером Лика из окон рубки наблюдала трудовую жизнь якутов на барже. Столько подвешенных на крюках туш животных она не видела никогда в жизни.

Наконец вышли на финишную прямую. И слава богу, потому что Лика почувствовала себя плохо. Сначала стало тошнить по утрам, потом и в течение дня. Работа для Лики превратилась в мучение. Она ничего не могла понять, а что делать, не знала. Она, абсолютно до сих пор здоровая, молодая женщина, не могла болеть по определению. Может, съела чего-нибудь, вот и лихотит, как говорит мама.



Шли вверх по течению, порожняком, любуясь не спеша наплывающими видами берегов, гуртуясь то в рубке, то в кают-компани. Вообще, наступило время, когда экипаж стал не просто группой людей, которых судьба свела вместе для работы, нет, это было уже нечто целое, состоящее из частей, совершенно друг к другу притертых, как детали одного хорошо работающего механизма. Этому механизму работать бы и работать, но именно теперь его снова надо развинтить, разобрать и отправить по своим домам-складам на хранение до следующей навигации, чтобы потом снова собирать, свинчивать, притирать... Такова специфика работы на речном флоте.

Было самое начало октября, поздняя осень. Но время как бы остановилось. Судно шло с севера на юг, погода замерла на неожиданно благостной отметке: по-осеннему тепло, а главное, безветренно. Деревья стояли еще не до конца раздетые и оттого прекрасные. Берега, как две цветные киноленты, раскручивались по обе стороны судна, плавно рассекающего водную гладь реки. Пробрасывало редкие льдины, которые белыми лебедями, покачиваясь, торжественно проплывали мимо корабля.

На абсолютно ровной серовато-стальной поверхности реки появилась черная точка, внеся дисбаланс в идеальную картину мира. Точка стала увеличиваться и вскоре превратилась в рогатого козленка с глазами, наполненными ужасом. Он стоял на льдине. Льдина была небольших размеров, козленок стоял как вкопанный, не шевелясь, испуганно таращил глаза на воду, на приближающееся судно с этими людьми-божествами, от которых с одинаковой степенью вероятности могло прийти и спасение, и немедленная смерть. И тут навстречу ползущему порожняком вверх по течению танкеру вынырнула из-за поворота лихая эспээнка*, груженная под завязку и сваливающаяся вниз с довольно приличной скоростью. С эспээнки тоже заметили козленка.

Лица часто вспоминала этот случай. Как она поначалу перепугалась за козленка, а потом в ее голове всплыла картина баржи с подвешенными на вешалах бесчисленными тушами оленей и она вскрикнула:

— Давайте его спасем!

И она была уверена, что метнувшийся из рубки Сашка побежал принимать меры именно к его, козленка, спасению. Потом она увидела на эспээнке плотного татуированного мужичка в тельняшке без рукавов с ружьем наперевес. И он стоял и целился в животное. В это же самое время на нос их собственного судна выскочил Сашка, и у него в руках тоже было ружье. С криком: «Да пусть меня хоть посадят!» —

* СПН, эспээнка — самоходное палубное наливное судно.



он нервно передернул затвор и вскинул ружье на плечо. Прогремели два выстрела, и козленок, которого непременно надо было спасти, упал на свою льдину, в предсмертной судороге забив маленькими копытцами, но почти сразу же затих.

Что было дальше, Лика не помнила. То ли она убежала в каюту, то ли прямо в рубке рыдала на плече у мужа, но ради двадцати килограммов козьего мяса оба судна бросили якоря, спустили шлюпки, льдину зацепили Мишка с Серегой, бросив на нее кошку и попав, как ни странно, а дальше дело техники. Козленка освежевали, мясо разрубили и разошлись довольные, будто в лотерею выиграли.

Когда Лика, успокоившись, спустилась на кухню, на разделочном столе торжественно стоял большой таз, наполненный козьим мясом.

Мишка с Серегой и Черноморик (Сашки не было, мавр свое дело сделал) стояли вокруг него, возбужденные, счастливые, обсуждали на все лады событие: как здорово, теперь и диетическое мясо к оленине, везет им все-таки нынче. Когда зашла Лика, умолкли. Они видели, как она рыдала, ну что ж, глупая женщина, что с нее взять, но — повариха, готовить-то все равно будет.

Тут зашла Манька:

— Ну что, довольные, что козленка грохнули? — странно спросила она. — Оленины — хоть жопой ешь.

Она тоже подошла к тазу и стала смотреть оценивающим взглядом.

— Шурпу надо замутить, вкусная будет! — наконец определилась она и добавила, взглянув на Лику: — Я умею, помогу тебе.

Лика мужественно смотрела на таз, стараясь не впускать в себя что-то, что впускать не надо было точно. При последних словах Маньки перед глазами всплыла невинная мордочка и огромные библейские глаза козленка. Тут откуда-то из самого нутра наружу что-то рванулось, и Лика, зажав рот ладонью, бросилась в боковые двери камбуза, выходящие на борт судна.

Лику рвало долго, но когда стало легче, она с изумлением увидела рядом с собой Маню, которую тоже рвало. А в камбузе стояли пацаны и, открыв рты, наблюдали странную картину: и Манька, и Лика Вадимовна свесились с лееров, обеих дружно полощет. Ну ладно Лика Вадимовна, но Манька-то что, свеженины никогда не видела?

Шурпа получилась на славу. Готовил, между прочим, механик. Вот уж правда — на все руки. Помогал ему Черноморик, который в шурпе, как истинный житель южных стран, толк таки знал.

Петр от радости чуть не рехнулся. Именно он первый из них двоих понял, что случилось счастье. С Манькой-то все понятно, да и при чем тут она. А вот Лика, Ликусик его нежный, неужели это правда, нет,



он верил и не верил! Его распирало от гордости за себя, а на женушку не мог надыхаться, и у него только одна проблема была теперь — продолжать ли Лике работать на камбузе, ведь она в таком положении, не трудно ли ей, и не только ей, но еще и тому, который там, внутри его любимой женщины, начинает свою маленькую, микроскопическую пока еще жизнь?!

Владимир Иванович с Бузукой вместе только посмеивались.

— Да ты ее на божничку посади, Ликусю свою, — советовал тепло Иваныч.

— Вообще-то, Петро, это не болезнь для женщины, — увещевал и Бузука, — раньше бабы в поле рожали, а какие сыновья вырастали! Ты как хочешь, чтобы у тебя сын размазней вырос?

Петр не хотел.

Но на семейном совещании поздно вечером в каюте Петр взялся было настаивать, что надо, как придут, сразу же Лике списаться с судна и уехать домой, чтобы там, в тишине и покое... Но Лика, заласканная, зацелованная, залюбленная мужем, даже представить себе не могла, что именно сейчас, когда она так счастлива, когда и ей, и ее маленькому комочку там, внутри нее, так нужны эти любовь и забота, должна уехать от Пети. Да в конце концов беременности-то с месяц от силы, а до полного окончания навигации, если считать с разоружением, недели две-три осталось.

— Нет, Петя, я доработаю, я не могу подвести вас всех! — решительно и просто определила дальнейшую свою судьбу Лика. — А ты будешь больше помогать мне на кухне. Да и Маня... она мне и сейчас помогает.

— Манька сама беременная.

— Вот и хорошо, вот мы две беременные и будем... а с судна, даже не мечтай, я не сойду раньше положенного, что я, белоручка какая?

На том и порешили.

Нет, все-таки если муж — голова, то жена — точно шея.

У Коли с Манькой все было тухло. Та попутала берега окончательно. Для нее старпома уже не существовало, а был Коленька, почти муж. Ее несло, как корабль на рифы, а Коля... что Коля, он не знал, как этот корабль остановить или развернуть. Потому что корабль был пиратский, а ему системы управления подобными судами были неизвестны.

Конечно, уже весь экипаж знал, что у них на судне две беременные бабы, одна от мужа, другая... Коле очень сочувствовали. Никто, впрочем, особо не нарывался и с советами не лез. Более того, старались даже делать вид, что они-то, то есть каждый в отдельности, вообще не в теме. Какая-то мужская порука существовала. Это потом анекдо-



ты травить станут, но пока... пока дело принимало слишком серьезный оборот, при самой что ни на есть анекдотичной его подоплеке.

Коля уже не грозил выкинуть Маньку за борт, да и не пил больше. Но ходил смурной, встрепанный какой-то, похудел, в общем, думал о чем-то. В кают-компании, в рубке, где бы ни был, если сидел, обязательно лез пятерней в русую шевелюру и теребил ее нещадно. Бузука однажды его даже предостерег:

— Выдерешь ты ее всю, Коля.

Это при Лике было, она на камбузе тесто ставила. Коля встрепнулся и, как к последней инстанции в таких делах, обратился к Бузуке за советом:

— Вот что мне делать, Николаич, ну хоть ты мне скажи. Ты же с ними умеешь как-то...

На что Николаич даже руками замахал и хохотнул независимо:

— О-о-о, брат, тут каждый сам за себя! — Но, помедлив, все-таки сказал душевно: — Да поговори ты с ней по-хорошему. Мне кажется, Маруся у нас не так проста. Молода очень. Со временем умной станет, если не сопьется... как мать.

Коля смотрел на Бузуку с недоверием:

— Кто? Эта дура... умная? Да о чем ты, Николаич? Да она мою жизнь под откос пускает. Она шалая, она же... — и осекся. В дверях кают-компаний стояла Манька.

Увидев Маню, мужчины замолчали, молчала и Манька. Ее темно-оливковые глаза постепенно наполнялись слезами, но сквозь слезы привычно проблескивали молнии. Лица глядела в эти глаза, на это Манино яростное лицо, а перед ее мысленным взором появилась почему-то мордочка и беспомощные глаза козленка, того самого, несчастного, убиенного и съеденного уже.

Из-за беременности Маня чуть-чуть округлилась, она все больше становилась женщиной, невольно, не желая этого, она становилась мадонной, но не обласканной и счастливой, а никому не нужной, злой и одинокой. Вот и сейчас Лике даже показалось, что у Мани пена на губах запузырилась, она скривилась, черты лица ее исказились, и она сдавленным, клекочущим голосом прохрипела:

— Шалая, значит? А ты меня выкини за борт! А ты не выкинешь, так я сама... В общем, выбирай, Колечка... Или ты женишься на мне, шалой, или я сделаю то, что сказала, а вам будет...

Закончив тираду энергичным ругательством, Маня развернулась и, хлопнув кают-компанейской многострадальной дверью так, что переборки затряслись, выскочила в коридор, бросилась в свою каюту, упала на кровать и наконец дала волю слезам. Раньше она никогда не плакала, из принципа, и презирала плакс, считала их жалкими слабачками, распускающими нюни из-за этих гадов-мужиков. Но теперь она



рыдала в голос, а мир рушился, и на нее сыпались осколки этого мира. Но она не могла, не имела сил выгрести из-под них и постепенно смирилась, успокаивалась, затихала — и наконец заснула, все еще всхлипывая, все реже и реже.

Ли́ка сразу же бросилась вслед за Маней и теперь стояла над ней и не знала, что делать: дать ей прорыдаться или начать утешать прямо сейчас. Но она уже знала, что прямо сейчас не стоит, лучше потом, позже. В этих раздумьях она дождалась, пока Маня уснет, и тихо вышла из каюты.

Вернувшись на камбуз, она наткнулась на вопросительный взгляд Петра, тот пришел помогать. Бузуки с Колей уже не было, но было видно, что Петя в теме, и Ли́ка, пожав плечами, обескураженно сказала:

— Я не знаю, они как заведенные: «Выброшу-выброшусь, выброшу-выброшусь!» Да что ж это такое? Игрушки им! Петя, поговори ты с Колей, ну пусть хоть он как-то успокоится! А мне с Маней надо... обязательно, срочно. Я — боюсь! Слышишь?

Ли́ке становилось все тревожнее. Как назло, на камбузе было много работы. На следующий день, к вечеру, переделав все дела, Ли́ка решила разыскать Маню, они не общались сутки. Каюта оказалась пуста. Ли́ка побежала в рубку, но и там, кроме Пети, никого, даже Сашки. Из-за шума работающих двигателей он ее не услышал, а она, прихватив теплую кофту, которая на такой вот случай в последнее время всегда болталась в рубке, через мостик спустилась на вторую палубу и остановилась, чтобы хоть секунду полюбоваться рекой.

Было уже достаточно темно. Река давно сузилась до нормальных размеров. Оба берега, в это время суток в черно-белом варианте, причудливой мистической лентой отматывались назад, туда, куда спешила и река.

Было, как всегда, великолепно, но Ли́ка почувствовала, что даже в кофте замерзает. К тому же снова вспомнила про Маню и уже хотела идти искать дальше, как вдруг увидела ее на нижней палубе. Маня стояла, навалившись грудью на леера, почти свесившись с них, полуодетая, и, замерев в неудобной позе, безотрывно вглядывалась в воду. Ее черные волосы трепались по ветру. Ли́ка напряглась, страх подкатил под грудь. Манина неудобная и опасная поза не нравилась ей.

«Надо подойти, я же хотела поговорить, побыстрее, не испугать бы, через жилые, не успеет...» — мысли вихрем неслись в голове, и тут Ли́ка увидела тень.

В проходе между жилой надстройкой и машинным отделением маячил силуэт — похоже, Коля. Ну конечно, это он. На него со спины подсвечивал слабенький лучик из неплотно прикрытых дверей. Коля



тоже пристально смотрел на Манину скрюченную спину и бьющиеся на ветру волосы. Сверху Лике было хорошо видно: Маня все сильнее свешивается с лееров, вот-вот упадет в свинцовую воду, а Коля подкрадывается к ней осторожными, неслышными в шуме работающих двигателей шагами.

Так вот оно что: оказывается, не Маня хочет свести счеты с жизнью, а Коля, как и обещал многократно, решился все-таки на ужасное. Для Лики это было уже очевидным. Надо предотвратить, надо что-то делать, срочно, срочно! Лика рванулась со второй палубы на нижнюю прямо по боковому внешнему трапу. Еще на бегу, далеко от Мани, она почему-то весело крикнула:

— Мань, я думаю, где ты, а ты тут стоишь, мерзнешь!

И ударилась о Манин взгляд. Он был каким-то ненормальным, пустым, невидящим. Маня дернулась и резко взмахнула рукой, как будто хотела ударить Лику, но руку перехватила другая рука, и это была рука Коли.

— Ты что задумала, дурочка? Ты что...

Коля схватил Маню в охапку, оттащил от лееров и придавил к стене жилой надстройки. Коля тяжело дышал, а Маня вдруг обвисла. Она норовила сползти по стене на палубу, но Коля не давал ей это сделать, он вдавливал ее в надстройку, как будто хотел сделать на ней отпечаток Маниного тела. Оба молчали, за них говорили леденящий ветер, свинцовая вода за бортом и низкое злое небо над головой.

Но время шло, и ужас сменился облегчением, даже какой-то ненормальной радостью: «Пронесло!»

Лика очнулась первая и тронула Колю за плечо. Коля вздрогнул, медленно разжал руки и, убедившись, что Маня не падает, отошел, но вдруг обернулся, еще постоял растерянно, как будто что-то вспоминая, и наконец выдавил из себя сырым каким-то голосом:

— Прости...

Развернулся и пошел, не оглядываясь, по переходу к чуть светящейся двери в жилые помещения.

Лика и уже пришедшая в себя Маня в беспомощном изумлении смотрели друг на друга, пока на их плечи не легли руки Петра:

— Девчонки, а ну по каютам, вам простывать нельзя, вы беременные. Быстрее, быстрее, в рубке Сашка, но мне нельзя долго отсутствовать.

Прошли Ленск, были почти уже дома. Экипаж решил отметить завершение активной навигации, капитан санкционировал. Сбросились по бутылочке винца, благо у каждого этого добра было завались, болгарские вина в Якутии продавались свободно. Договорились, что как в прошлый раз не будет, а все чинно-благородно. Однако якорь на



всякий случай бросили у какой-то деревушки, догадались умные командирские головы. Сидели по-семейному, кажется, грустили.

Иваныч в тронной речи сказал, что ждет всех в следующую навигацию. Бузука развел лирику:

— Все-таки пуд не пуд, но соли съедено достаточно. И подсолили друг другу, и подперчили... — В этом месте все поглядели на Колю, Манька отсутствовала. — Но в целом... — Бузука снова замешкался, расчувствовался что-то: — Молодцы! Орлы, одним словом!

Бравый механик облегченно отправил в рот рюмку водочки, которая все-таки как-то возникла на столе.

Манька появилась чуть позже. Сразу сказала, что пить не будет. Была какая-то... не Манька вовсе, светлая вся, спокойная. Все понимали, что с девахой, после попытки сигануть за борт, что-то не то.

— Как обернулась, — сказал про нее в рубке Иваныч.

Коле она больше не докучала, ходила не злая, даже веселая. Ждали подвоха, не дождались, плюнули, забыли. Так, изредка интересовались, мол, Манька ничего там не выкинула? Задавали вопросы и Лике, но та отмалчивалась, сама не знала.

Единственное, что Маня ей сказала после всего, — что дура была и что ее всю ночь трясло: мол, могла бы сейчас не в кровати лежать, а в ледяной воде плавать. А еще она попросила передать Коле, что пусть успокоится, что Веруше его она ничего никогда не скажет.

И Коля успокоился. Настолько, что под конец прощального вечера, пьяненький опять, на радостях, наверное, выкинул фортель. Он встал, на нетвердых ногах подошел к Мане и... пригласил ее на танец! Музыка, конечно, уже давно звучала, как без нее.

Лица внутренне содрогнулась, но и на других это произвело впечатление. Потом все ахнули еще раз, потому что Маня сначала пошла с Колей и, как все ждали, должна была на Колю повеситься, но она не только этого не сделала, но через какое-то время, чего-то Коле наговорив, оттолкнула его, повернулась и ушла из кают-компания совсем.

А сказала она Коле — она потом Лике в этом призналась, — что топиться и не собиралась вовсе... И напрасно Коля так высоко себя держит, что из-за него кто-то когда-то топиться захочет. Но она подумала, когда заприметила у лееров крадущегося Колю, что, наоборот, он хочет ее... за борт. И вот тут-то она и решила: раз так, значит, тому и быть. И ждала, когда Коля это сделает.

Когда Маня танцевала с Колей, оба понимали, что это последний танец в их жизни, и градус откровенности, как перед прыжком в вечность, достиг максимума. Маня теперь вообще не понимала, как она могла — да нет, не влюбиться — связаться с этим человеком: ну да, хороший, ну да, старпом, но не ее он, не ее... хоть тресни! И она говорила ему торопливо, чтобы успеть сказать, потому что потом уже никогда:

— Знаешь, я даже хотела в эту воду, я даже торопила тебя мысленно. Если бы не Лика, я даже не знаю, что было бы. А ты... — уже отталкивая Колю от себя, как-то разочарованно, слог за слогом, чеканила Маня, — оказывается, меня спасал!

Все друг другу что-то обещали. Мишка с Серегой заверяли Иванныча, что в этом году поступят в речную, хватит уже рулевыми ходить. Черноморик бил себя в грудь и клялся всем Черным морем, что на будущую навигацию приедет только сюда, на Лену. Лика ни с того ни с сего спросила у Сашки, когда он женится.

Никогда и никому она подобных вопросов не задавала, считала, что они должны состоять в арсенале у пожилых тетюшек. Ей даже стыдно стало, но Сашка не растерялся:

— Знаете, Лика Вадимовна, а — женюсь! Как только такую, как вы, найду! — Помолчал и добавил: — А я найду! Я знаю теперь, какая мне нужна.

Бузука опять мечтательно поглядывал на прекрасную повариху, он ее только так уже и величал. Но она на этот раз была полностью занята мужем.

Гуляли далеко за полночь.

На следующий день пришли в родной порт. Через три дня, закончив разоружение судна, расходились. Постояли на берегу и потянулись кто куда. Все адреса были взяты, все обещания не забывать и встречаться были даны еще на судне. Мужчины долго трясали друг другу руки, а потом резко разворачивались и быстро уходили.

Последними на берегу остались Лика, Маня и Петр. Когда Петр отошел, чтобы дать женщинам проститься окончательно, Маня вдруг сказала Лике:

— А я ведь помню, как ты мне сказала, что... мне полюбить надо, ну, что я все без любви. Я не сразу, я потом вспомнила. Так вот, я буду любить... Колечку! Но не этого, а того, который родится. Я ему всю любовь отдам. Знаешь, мне кажется, что я его уже люблю!

— Люби, Маня, я тебя прошу, люби! Может, с этой любовью к тебе и другая любовь придет. Любовь, ведь она... любящему сердцу дается.

И долго смотрела, как Маня от нее уходила, а с нею и эта удивительная, так ярко ей запомнившаяся частичка ее собственной жизни. Прощай, Лена, и... здравствуй, Лена, на долгие двадцать восемь лет!

ПРОГУЛКА ПО НОВО-НИКОЛАЕВСКУ

*Беседа с новосибирским антикваром и библиофилом
Станиславом Савченко*

Станислав Алексеевич Савченко — известный в Новосибирске коллекционер, владелец крупнейшего за Уралом антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница», который, помимо икон, мебели, посуды, торгует книгами, открытками, марками, фотографиями и старыми документами.

Мы встретились со Станиславом Алексеевичем, чтобы «погулять по улицам Ново-Николаевска», рассматривая старинные фотографии и открытки, которым больше ста лет. Его коллекция открыток и фотографий с видами города, в которой насчитывается более полутора тысяч экземпляров, — лучшая не только в Новосибирске, но и в России.

— Станислав Алексеевич, откуда такая увлеченность, как говорят специалисты, «старой бумагой»?

— Как библиофил и коллекционер я всю жизнь собираю автографы российского Серебряного века. В 1990-е годы создал антикварный магазин — и как раз в это время стремительно вошло в моду коллекционирование «старой бумаги»: фотографий, открыток, интересных документов частных лиц, приглашений билетов. Выяснилось, что все это очень важно для нашей культуры, для истории страны, поэтому изучение «старой бумаги» стало вспомогательной исторической дисциплиной. Хотя мы несколько опаздываем — на Западе этот бум начался гораздо раньше.

Самое привлекательное направление — это коллекционирование открыток, или филокартия. Термин произошел от иностранных слов: древнегреческого *phileo* («люблю») и французского *carte* («бумага, лист»). Если автограф Ахматовой может быть только в очень крупной библиотеке, его невозможно найти у обычного человека и стоит он очень дорого, то открытки выпускались повсеместно, всегда стоили одинаково по всей России и никто их активно не собирал. При советской власти цена на дореволюционные от-

Все представленные открытки, фотографии и документы — из коллекции С. А. Савченко.

крытки была в буквальном смысле копеечной: черно-белые — десять копеек, цветные — двадцать или тридцать копеек, открытки в стиле «ню» — пятьдесят копеек. Коллекционирование этих открыток не особенно поощрялось государством, поэтому их выбрасывали чуть ли не мешками и так же чуть ли не мешками их можно было купить.

А в конце перестройки начался подъем интереса к краеведению и пришла мода на филокартию. Иногда среди пачки старых открыток, оставшихся от бабушки, которые приносили в букинистический магазин, могли попасться два-три уникальных экземпляра — все филокартисты ждут такого случая! Даже в антикварных магазинах можно иногда купить эти редкости совсем недорого, потому что каждый магазин специализируется на своем направлении.

Сейчас в стране уже больше двадцати лет выходят два журнала по филокартии: «Жук» и «Филокартист» (один в Санкт-Петербурге, другой в Москве), где публикуется много интереснейшего материала. Среди коллекционеров особенно ценятся дореволюционные поздравительные открытки, также большой интерес вызывают почтовые открытки с видами городов, на которых изображены знаковые моменты истории или места (здания, памятники, природные объекты), которые сейчас уже не существуют.

В Новосибирске насчитывается человек сто «неактивных» филокартистов, человек двадцать-тридцать — активных и с десятков очень активных. Конкуренция есть!

— С чего началось ваше увлечение открытками и фотографиями, связанными с историей Ново-Николаевска — Новосибирска?



Гор. Ново-Николаевскъ. Ст. Обь. Видъ съ лѣваго берега.

Ново-Николаевск. Станция Обь. Вид с левого берега

— Я вырос в Барнауле и всю жизнь собирал открытки этого города. В середине 1970-х случайно познакомился с женщиной, у которой дед был архитектором, и увидел у нее фотографию строительства собора Александра Невского. Фотография сейчас хранится у меня, мы ее печатали в новосибирском журнале «Горница», но никто не может сказать, кто ее сделал. С этого все и началось — я начал «коллекционировать Ново-Николаевск». Еще в 1980-е годы, если попадалась интересная «бумажка», я ее всегда откладывал, а после 1990 года уже стал активно собирать материалы. Поскольку коллекционеры — люди азартные, всегда хочется быть первым — в результате сейчас у меня самая лучшая в Новосибирске коллекция открыток и фотографий, и, наверное, лучшая в стране.

Как ни печально, собрать все невозможно. Очень редко, но до сих пор попадают открытки, о которых ранее ничего не было известно. И не попадают, исчезли совсем те, о которых известно, что они были выпущены к определенному событию. Например, когда Российская империя праздновала трехсотлетие дома Романовых, то во всех городах выходили открытки, посвященные этим торжествам, — однако в нашем городе их обнаружить не удалось. Но они должны быть!

Точно так же по всей России праздновали столетие Отечественной войны 1812 года, во всех городах есть открытки на эту тему — но куда они делись из Ново-Николаевска? Тем более что в этой войне участвовали сибиряки. По периодике известно, что в Ново-Николаевске активно отмечалось и пятидесятилетие отмены крепостного права, — и опять нет открыток. Почему никто ничего не выпустил?

Но бывает и наоборот — совсем недавно мы обнаружили открытку, которая считалась несуществующей. Во всех городах России была очень модная тема — открытки с изображением почтальона, из сумки которого вы-



Перевод из Сибири

глядывали городские панорамы и пейзажи. В Петербурге и Москве таких открыток — десятки, в других городах — поменьше (в Красноярске даже выпущен их каталог), а вот в Ново-Николаевске — не было, и считалось, что их не существует вообще. И вот чуть больше года назад нам в «Сибирскую горницу» принесли эту открытку! Она была плотно приклеена в альбоме среди других совершенно неинтересных открыток и находилась в ужасном состоянии. Пришлось приобретать альбом только ради нее...

— Вы собираете открытки, связанные только с Ново-Николаевском и Новосибирском?

— Не только. Я начал собирать открытки еще в 1980-е годы, когда было модным художественное объединение «Мир искусства», сформировавшееся в России в конце 1890-х годов. Считалось, что это самые лучшие наши художники — Бакст, Бенуа, Билибин, Остроумова-Лебедева. Первые открытки купил у бабушки, которая называла себя графиней, с тех пор и собираю. Всего у меня хранится чуть более 10 000 открыток, из них новониколаевских и новосибирских примерно полторы тысячи.

Филокартисты используют стандартные фотоальбомы, куда вставляют открытки, — так, по Ново-Николаевску у меня три альбома, забитых до отказа. Три, потому что существует три главных периода в истории открыток нашего города. Первый — дореволюционный, второй — революция, Гражданская война и период до Великой Отечественной войны, потому что в войну город был «закрытым». Фотографировать было нельзя, открытки в это время не выпускались. Третий период начался только после смерти Сталина в 1954 году, когда город был «открыт» и разрешили покупку фотоаппаратов.



Перевод из Ново-Николаевска

— Можно ли с помощью, например, какой-нибудь антикварной открытки сделать удивительное открытие в истории города? Много ли тайн, загадок хранится в ваших альбомах?

— Безусловно, можно. Потому и стала филокартия прикладной наукой: на открытках мы можем видеть, как проходила электрификация города, как перестраивались здания, как выглядели памятники, прилавки базаров, какие были вывески на домах и магазинах... Кроме того, многие открытки проходили почту, на них обязательно есть почтовый штампель, который удостоверяет дату, и это важный элемент для городских историков, это документ, на него можно ссылаться как на непреложный факт. Именно это во всем мире подталкивает развитие филокартии, издание каталогов.

У меня есть очень колоритная фотография 1928 года, на которой изображены женщины-плотогоны — после революции женщин освободили от домашней работы, чтобы они гоняли плоты, работали на тракторах, на железной дороге... Конечно, я взял эту фотографию в коллекцию.

Существует цветная открытка собора Александра Невского, на которой он белого цвета, и это не подделка. Были споры по этому поводу, но фотofакт есть. Известна даже дата — 1911 год. Оказывается, собор был на некоторое время перекрашен в белый цвет. Цветные фотографии в то время уже выпускались, хотя технология была очень сложная: снимали с трех негативов, а потом совмещали.

Есть также открытка «Крючники», и, по утверждению одного из жителей города, в центре изображен Сергей Александрович Шварц — первый председатель исполкома Новосибирской области (1937). Но это нужно проверять.



Крючники

...Из последних приобретений — пятнадцать открыток из серии «Ново-Николаевск. Военный городок. Стрелковый батальон. 1916 год». На них изображены офицеры и рядовые, причем фото с офицерами подписаны, а где рядовые — подписей нет. Это интересно тем, кто занимается историей Военного городка.

Несколько лет мы пытались составить и издать большой каталог всех дореволюционных открыток Ново-Николаевска, но постепенно я охладел к этой идее, потому что нет дополнительного финансирования, а предприятие очень затратное, и я понимаю, что каталог будет неполным, ведь совершенно непонятно, как обеспечить изданию эту полноту... Кроме того, я стал очень сильно ценить фотографии города, часто они эффектнее, лучше открыток. Фотографии так и просятся в дополнение к каталогу, но их такое количество, что все учесть невозможно.

А по отдельным издателям, работавшим в городе, мы выпустили три маленьких каталога: по Литвинову, по загадочному Ляликову, по советским открыткам фотографа Моторина. Каталоги востребованы, их можно посмотреть в ГПНТБ и в Новосибирской областной научной библиотеке, но это мизерные тиражи — по пятьдесят экземпляров.

— А сколько издателей выпускали открытки Ново-Николаевска? На слуху только Николай Литвинов.

— Было около десятка издателей, печатавших открытки города. Все открытки (не только новониколаевские, а любого города) делятся на две большие группы — изданные центральными издательствами и местными. Центральные издательства (московские, петербургские) старались охватить



Торговый дом Беляков, Копылов, Кротков и Ко. Товарищество, учрежденное в 1910 г. под фирму «Сибирский мукомол» в Ново-Николаевске

всю страну, это бизнес вроде и мелкий, но в масштабе всей Российской империи — очень даже крупный, поэтому его захватил известный издатель Алексей Суворин. Он добился разрешения на эксклюзивное право продажи своих открыток на всех железнодорожных станциях России, включая самые мелкие, и, соответственно, там он продавал открытки и этой станции или этого города. Несмотря на то что открытка стоила пять копеек, человек обязательно покупал открыточку там, где он проезжал, и посылал ее родным: «Проехал станцию Каинскую. С приветом такой-то. Все хорошо». Тому же Литвинову приходилось хуже, он продавал открытки только в своем магазине, на вокзал его никто не пускал.

Фотографы у Суворина были очень профессиональные, и в Ново-Николаевске он издал большую серию, насчитывающую более двадцати открыток, а потом печатал их постоянно, из года в год (с 1912-го по 1917-й). Эту серию полюбили большевики и в 1918 году, пока еще не пришли чехи, успели издать огромную серию открыток с негативов Суворина. Издатель — Контрагентство Ц.И.К. С.Р.С. и К.Д. (Центрального исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов). До сегодняшнего времени эти открытки города Ново-Николаевска попадаются чаще всего — видимо, их просто не распродали, где-то они хранились, потому что всегда в идеальном состоянии. Стоят они недорого, и все коллекционеры, собирающие город, начинают с них. У меня есть одна или две такие открытки, которые прошли почту, потому что интересна именно почта того времени — что люди писали и как...

А местные издательства делятся на наши городские и другие региональные: например, открытки с видами Ново-Николаевска издавали в Чите и



Ново-Николаевск. Городской торговый корпус, 1916 г.

Кургане — правда, непонятно зачем, но это тайны бизнеса тех времен. Подобные открытки, естественно, очень редки, но самые раритетные — те, которые пытались издавать фотографии, потому что у них мизерный тираж (у профессионалов это называется *real photo* и ценится чрезвычайно дорого). В Ново-Николаевске таких было довольно много, но собрать их невероятно трудно, потому что нет никаких серий и обозначений. Издатели все открытки нумеровали, если стоит № 30, то и открыток — тридцать.

— Часто приходится сомневаться, что держите в руках — фотографию или открытку?

— Раньше было очень модно посылать фотографии по почте. Даже продавалась фотобумага, на обороте разлинованная под открытку. Там было название «Почтовая карточка» и место для адреса и текста, а печатал ты ее сам. Девушка могла послать свою фотографию, а какой-нибудь дедушка — вид города, улицы, своего дома. Попадают такие и в Ново-Николаевске, но до сих пор профессионалы спорят, как их классифицировать, ведь по формату это открытка, даже пройдена почта, но при этом она абсолютно уникальная и существует чаще всего в единственном экземпляре.

У меня есть совершенно потрясающий образец — фото группы военных, сделанное как открытка. Текст такой: «Штаб 17 дружины. Государственное ополчение Сибирского военного округа. Станция Обь. 15 сентября 1905 года». Из интернета я узнал, что это была дружина, охранявшая наш мост во время Русско-японской войны. Я ее считаю открыткой, хотя она, возможно, тоже существует в единственном экземпляре (наверняка каждому участни-



Ново-Николаевск. Переселенческий тракт

ку сделали по оттиску, но сохранился только один). На фото перечислены фамилии всех запечатленных людей, и, возможно, краеведам стоило бы заняться исследованием истории этой дружины.

В 1907 году состоялся знаменитый автомобильный пробег Пекин — Париж с участием представителей разных государств на автомобилях разных марок. По дороге они останавливались в городах, в том числе и в Ново-Николаевске. Французы, участвовавшие в автопробеге, выпускали виды каждого города, через который лежал их путь. У меня в коллекции есть три такие открытки с видами Ново-Николаевска, но сколько их на самом деле, я не знаю. Они полностью анонимные, никаких выходных данных, стоимость — десять копеек. Должен существовать французский каталог, но я не сумел его найти. На моих открытках запечатлен наш вокзал, паромная переправа и пристань возле железнодорожного моста, от которой отходит пароход. Все открытки малотиражные и сделаны фотоспособом.

— Какая открытка дореволюционного Ново-Николаевска считается самой первой?

— Почему-то всегда считалась первой открытка, датированная 1902 годом, «Вид пристани Обь. Новониколаевский поселок», выпущенная в Москве издательством «Шерер, Набгольц и Ко». Я всегда подозревал, что она не первая, но аргументов не было, пока не попала открытка с видом строящегося собора Александра Невского. Частным издательствам в Российской империи открытки разрешили выпускать очень поздно, официально — в 1895 году, но полулегально это начали делать уже в 1893—1894 годах, осо-

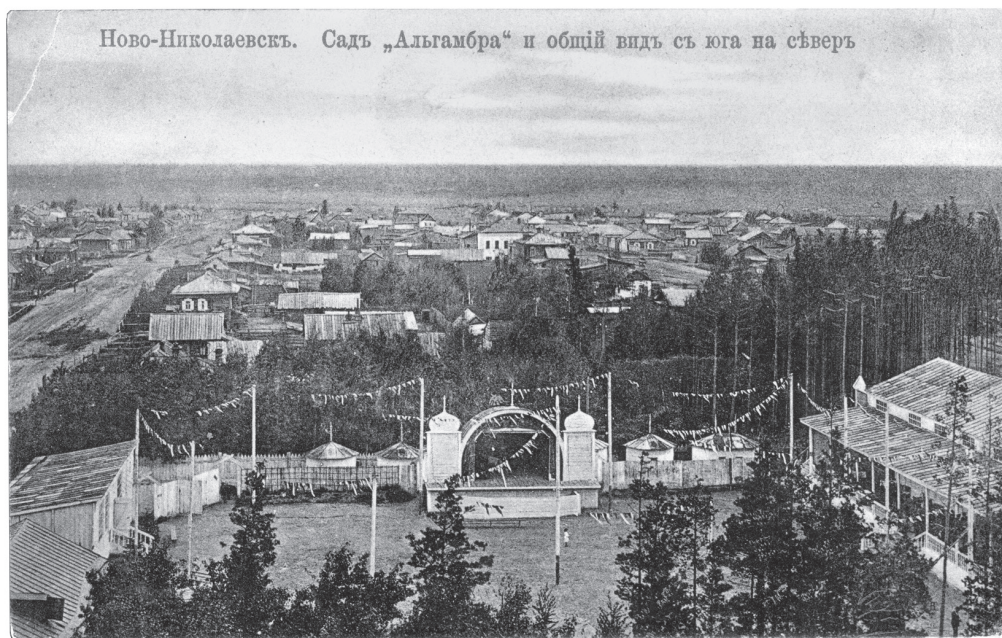


Новониколаевскъ Томск. губ. № 27.
Театръ Чиндорина (сгорѣвшій).

Ново-Николаевск. Театр Чиндорина (сгоревший)

бенно в Прибалтике, Польше, Финляндии. Собор начали строить в 1893-м, а открыли в 1898 году, и значит, открытка с видом строящегося собора была выпущена до 1898 года. Пока меня не опровергли, я ее считаю первой — выпущена в Петербурге товариществом «Художественная печать», на ней стоит № 11. Всего в этой серии, посвященной Великому сибирскому пути, было сорок открыток, и пока никто из коллекционеров не смог собрать эту серию полностью. Открыткой «номер два» следует считать, на мой взгляд, открытку с изображением пассажирского здания станции Обь — мне кажется, она выпущена раньше 1902 года. У нее очень необычная оборотная сторона и издатель неизвестен, хотя она может оказаться и первой открыткой, никто вопрос не исследовал. А открытка 1902 года уже идет третьей по времени издания.

Половину первого дореволюционного альбома занимают открытки центральных издательств. Это был бизнес, поэтому они сильно не заморачивались разнообразием сюжетов — один раз серию сделали и потом лет пятнадцать ее переиздавали. Иногда ставили дату, и получалось, что открытки и 1902 года, и 1912-го идут с одним видом, хотя он явно изменился за десять лет. Но это мало волновало московских или петербургских издателей, важно было то, что она продавалась. Поэтому около тридцати видов открыток постоянно повторяются с разными датами и разными оборотными сторонами. Для коллекционера это очень важно: все варианты приходится собирать. Открытка 1902 года, которая считалась первой, была издана и в 1905 году, вот ее я до сих пор найти не могу. Приходится ставить ксерокопию в альбом.



Ново-Николаевск. Сад «Альгамбра» и общий вид с юга на север



Сердечный привет из Ново-Николаевска

— А есть какие-нибудь необычные открытки, отличающиеся от остальных техникой исполнения?

— Очень редко попадаются открытки с подкраской — голубое небо, зеленая трава... Как они это делали? Видимо, была какая-то хитрая технология, о которой сейчас уже никто не может рассказать. И это не фотография... В начале XX века было очень много типографских тайн, всем хотелось использовать цветные технологии. Французы, например, изобрели технику пошвар для воспроизведения акварели и гуаши.

В Ново-Николаевске Николай Литвинов первым начал выпускать художественные открытки города, и они до сих пор считаются самыми красивыми. Техника, в которой они сделаны, называется конгревное тиснение и создает эффект объемного изображения. Такие открытки стоили, наверное, пятнадцать-двадцать копеек. Есть и цветные открытки, выполненные в очень сложной технике с трех негативов одновременно...

— Назовите самые популярные виды Ново-Николаевска, которые воспроизводились на открытках чаще других.

— Пожалуй, самый популярный вид — это наша станция Обь. Например, на очень колоритной открытке, которую печатали каждый год, изображены все служащие станции вплоть до дворников с метлами. Ее издавали даже в других городах. Так, читинский издатель Хахаев украл негатив центрального московского издательства и выпустил открытку со своими выходными данными — пиратство было развито и тогда... Мне пришлось положить в альбом даже две одинаковые его открытки, потому что на одной оборот был красного цвета, на другой — черного. То есть у него было два «левых» тиража. Вообще непонятно, как он мог в Чите заработать на виде Ново-Николаевска.

Штук двадцать открыток, выпущенных с 1903 по 1915 год, воспроизводят водонапорную башню на той же станции. Еще очень часто повторяющийся вид — убогие здания, халупы в районе реки Каменки в начальный период строительства города. Эту открытку беспрерывно печатали центральные издательства вплоть до 1915 года. Местные такого не делали, они относились более любовно и с уважением к своему городу. А москвич Дмитрий Ефимов, как будто стараясь подчеркнуть убогость нашего города, выпустил даже серию открыток: все виды взяты в районе реки Каменки, и кажется, что это не город, а деревня, хотя шел уже 1907 или 1908 год, уже были и каменные здания, и храмы, но ничего этого на открытках нет.

Когда началась Русско-японская война, сюжеты немного изменились, например, есть достаточно симпатичный сюжет — съестные лавки на вокзале. Во время остановки на станции Обь военные закупали себе еду в этих съестных лавках, и, видимо, это было событие для города, раз попало на открытку.

— Наверное, самые популярные открытки Ново-Николаевска — это открытки Литвинова?

— Первая открытка Литвинова появилась в 1904 году, а последняя — в 1912-м. Чем отличаются литвиновские открытки от других? Во-первых, оригинальными видами. Во-вторых, своей познавательностью.

Литвинов издавал очень много: учебную продукцию, политические брошюры, листовки. Но все исчезло! В Новосибирске не сохранилась даже основная литвиновская книга — «Справочник по городу Ново-Николаевску», остались одни открытки, которых у Литвинова насчитывается примерно



№ 4. г. Ново-Николаевскъ. Парох. „Дѣдушка“ Е. И. Мельниковой.

Ново-Николаевск. Пароход «Дедушка» Е. И. Мельниковой

восемьдесят. Они изредка попадаются, но у коллекционеров на них другая стоимость, чем, например, на «депутатские». Я выпустил каталог открыток Литвинова, но не уверен, что все собрал. Серии, кажется, полные, но как можно гарантировать, что он еще чего-то не выпускал? Сам он не оставил никаких записей (кто-то даже изучал его рубцовский архив).

— Почему все говорят про открытки Литвинова, а открытки Ляликова не на слуху?

— Сергей Кузьмич Ляликов (1878—1933) был очень интересным человеком — поэт, писатель, издатель. До революции он жил в Ново-Николаевске, имел свой магазин, потом уехал в Барнаул, где и похоронен. Но подробная биография С. К. Ляликова неизвестна, и даже не найден его портрет.

Зато в газете «Обской вестник» сохранились его рекламные объявления: «Действительно чудные открытки. Ляликов». Литвинов и Ляликов не были конкурентами, потому что ляликовские открытки датируются более поздним временем — 1911 и 1912 годами. Они ничуть не хуже литвиновских, а в чем-то даже более информативны. У Литвинова город на открытках еще совсем молодой, а у Ляликова — уже предвоенный.

Как оказалось, Ляликов издал также серии открыток с видами Камня и Томска. Чем интересны его открытки? Прежде всего периодом — это годы самого интенсивного развития нашего города. А также интересны идеями исполнения — например, когда в Ново-Николаевск приехал летчик Седов, Ляликову чуть ли не самому первому пришла в голову мысль сделать фото-



Новосибирск. Общий вид на Каменку

монтаж. Та открытка, где запечатлен самолет на фоне панорамы города, — это ляликовское издание, с четкой датировкой — лето 1911 года.

Первая его серия состояла из тридцати открыток и была выполнена в черно-белом цвете, это самая большая серия видов Ново-Николаевска, вышедшая до революции. Есть у Ляликова и цветная серия, на издание которой требовались немалые деньги, при этом продавать цветные открытки в провинции было сложнее, потому что для маленького города это были большие деньги — десять копеек за штуку, тогда как черно-белые стоили по пять копеек. А в Москве и Петербурге половина открыток были цветными.

Еще Ляликов очень красиво отснял все наши церкви — например, собор Александра Невского в цвете. Вообще его открытки отличались интересными и живыми сюжетами, например «Переселенческий тракт» (эту открытку почему-то редко воспроизводят). Кроме того, он выпустил открытку «Театр Чиндорина», который вскоре сгорел. Пришлось на открытке в скобках указать — «сгоревший». Всего Сергей Кузьмич Ляликов издал четыре серии открыток, одна из которых представляет загадку для коллекционеров: на открытках в углу стоят пятизначные номера, и что они означают — еще предстоит узнать...

— У всех ли открыток известен фотограф или издатель?

— К сожалению, нет. Хотя сейчас очень модно изучать историю фотографии — неважно, что изображено, важно клеймо фотографа. Однако иногда попадаются редкие, очень интересные открытки, но неизвестно, кто их автор. Например, была выпущена серия, посвященная пожару 1909 года.



Из жизни частей Сибирского военного округа. Газ пущен



Пригласительный билет на выставку трофеев Отечественной войны

торговый дом «Сибирский мукомол». Есть и открытки, приписываемые Литвинову, но я их поместил в конце альбома, потому что нет никаких доказательств, что их издал именно он.

Вот, скажем, открытка «Ясли» — выпущена в 1915 году в двух цветах (синем и коричневом) и очень плохого качества. А есть открытка, которая, скорее всего, тоже литвиновская — на ней изображен он сам, городской голова Жернаков и предприниматель Маштаков на берегу Оби. Можно сказать, городская власть в компании с бизнесом и главным журналистом. Зачем надо было Литвинову ее выпускать? Не очень понятно. Кстати, был еще и четвертый участник — тот, кто фотографировал, но при этом издатель не указан...

Открытка «Проект Народного дома» выпущена в память о его закладке 15 августа 1913 года. Издало ее «Общество попечения о народном образовании», и я ни у кого больше не видел такой открытки. В Москве говорили, что их две, есть еще изображение фасада здания.

Несколько открыток выпустило пароходство Мельниковой — она снимала свои пароходы на фоне нашего железнодорожного моста. В Ново-Николаевске вышли две открытки, но для коллекционера — четыре, потому что текст на обороте разных цветов.

В Кургане выпущена открытка с видом новониколаевского железнодорожного моста через Обь, сюжет не подписан, но узнаваем, а кто и зачем это сделал — неизвестно.

Известно пять открыток (четыре — с видами пожара и одна — после пожара), но сколько их было на самом деле, мы не знаем.

Есть еще одна очень интересная, скажем так, условно анонимная серия с подписью издателя, но при этом кто такой «Н. Черкашин», никто не знает. Скорее всего, это фотограф, который решил конкурировать и с Литвиновым, и с Ляликовым, и, видимо, он жил в Затоне, потому что у него очень много видов кораблей. Из этой же серии у меня есть копия открытки, которую я нигде не могу найти, — это наш пивной завод.

Также анонимные рекламные карточки выпускал

— Кто выпустил самую последнюю серию открыток перед революцией?

— Красивая и качественная серия из тридцати открыток вышла в 1916 году — изображен город перед революцией. Магазин «Глобус», располагавшийся в здании городской думы, выпустил эту серию, и она считается самой популярной, мы даже ее переиздали, и, на удивление, весь тираж разошелся. На открытках запечатлены не только виды города, но и строительство Алтайской железной дороги: станция (сейчас — Новосибирск-Южный), мост через Иню и даже мост по направлению на Барнаул — это было достижение, об этом все говорили, поэтому такие объекты и попали на фото.

Здесь же прослеживается и романтический сюжет: если внимательно приглядеться, то почти на всех открытках серии можно увидеть маленькую фигурку женщины в одной и той же одежде. Все фотографии были сделаны осенью 1916 года, и можно предположить, что женщина — подруга фотографа.

Много попадает открыток в одном экземпляре — любительские фотографии, напечатанные на бланке открытки: вид на Военный городок, выставка эсперантистов, дом № 118 на Гудимовской улице, который сгорел, но сохранился для истории на открытке.

Оказывается, господин Махотин, державший кинематограф в Ново-Николаевске, тоже выпускал рекламные открытки, но мне за всю жизнь попала только одна — изображение комика Макса Линдера, который был до Чарли Чаплина любимцем публики. Махотин выпустил открытку с ним, но при этом на обратной стороне написано: «Первый электротheater Махотина». Ясно, что таких открыток было несколько.



Первое мая в Новосибирске, 1938 г.

— Много ли открыток, связанных с Белым движением, например с Чехословацким корпусом?

— В Праге я купил очень редкую открытку, на которой написано: «Ново-Николаевск. Сибирь. 1916 год. Штрафник», но мы не можем определить, кто художник и сколько открыток в серии. Всего пока известно восемь экземпляров, семь из которых у меня есть, а восьмой — только на фото.

Есть фотография памятника чехам, убитым в 1918 году и похороненным на кладбище в «Березовой роще». Простоял этот памятник недолго, в 1920-х его снесли.

Есть фотография, датируется маем 1918 года, — на ней изображены солдаты Чехословацкого корпуса после захвата Совдепа и ареста большевиков в Доме революции.

Есть очень колоритная фотография чехов, охраняющих наш железнодорожный мост через Обь. Вы только вдумайтесь, в центре Российской империи стоит иностранный вояка с оружием и охраняет мост! Они понимали, что им досталось, — весь Великий сибирский путь был в их руках.

А вот крайне редкая фотография времен Гражданской войны, еще никем не опубликованная, — прибытие в Ново-Николаевск французского генерала Жанена, которого позже назовут «косвенным убийцей адмирала Колчака».

Есть и одна лагерная открытка 1916 года: пленные венгры устроили соревнования по лыжному бегу и выпустили в честь этого рекламную открытку. Читаешь, глазам не веришь: военнопленные, а на лыжах бегают!

У меня также есть неизвестная, нигде не опубликованная фотография адмирала Колчака. Я купил ее в Праге в 2000 году совершенно случайно. В букинистическом магазине при входе стояли «отходы» — фотографии по



Ново-Николаевск. 1918 год. Чехословаки, которые разогнали местный совет

десять крон. Вначале я не обратил на них внимания, но, когда уходил, решил глянуть. Смотрю — Колчак в адмиральской форме! А чехи, хозяйка магазина, его не узнали! Такое запоминаешь на всю жизнь.

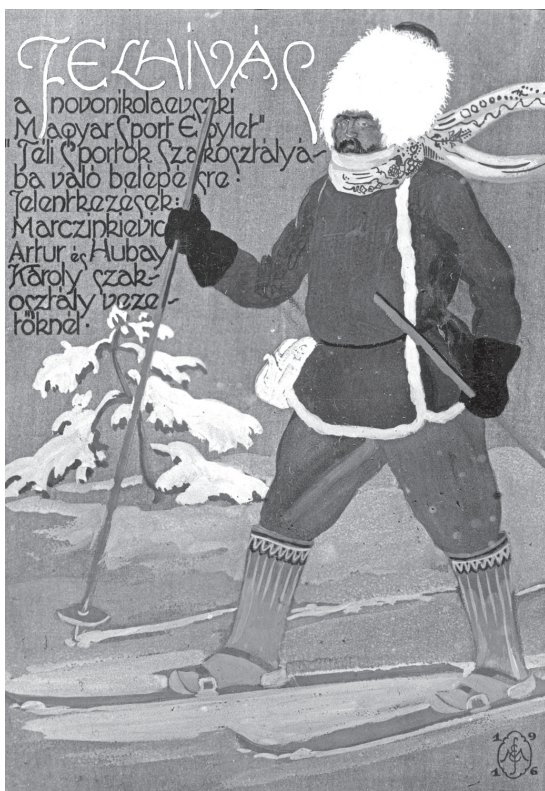
— **А смешные открытки попадаются?**

— Есть смешная яликовская открытка, на которой такой текст: «Ново-Николаевск. Церковь Св. Апостолов Петра и Павла на Мухинской горе». А на самом деле это вид Томска, но почему-то подписано «Ново-Николаевск», так и пошло в тираж. Еще смешнее рукописный текст на этой открытке: «Пиши мне. Мой адрес: Ново-Николаевск, командиру 17 стрелкового батальона, подполковнику...». Как мог командир батальона так все перепутать? Видимо, только приехал и не понял, что купил открытку не с видом города Ново-Николаевска.

— **Наверное, собирать открытки 1920—30-х годов гораздо проще?**

— Как раз наоборот — если дореволюционных открыток у меня собрано процентов девяносто пять, то что касается довоенного Новосибирска — чуть более пятидесяти процентов. Коллекционировать этот период гораздо тяжелее, многие открытки просто невозможно найти, например практически все сюжеты, связанные с Робертом Эйхе. Эйхе на всех первомайских демонстрациях, Эйхе с детьми, Эйхе на встрече, на совещании... Везде были свои маленькие культы личности, у нас — Эйхе. Но этого ничего сейчас не найти, не собрать, потому что народ так боялся хранить эти открытки, фотографии, что все уничтожили. Если дореволюционные открытки можно как-то достать за границей, то здесь все связи оборваны. Если выпускать каталог, то это будет только по 1920 год, а дальше — бессмысленное занятие. В это время было не до открыток, их просто не существовало. Только какие-то карточки пароходов без выходных данных...

Значимая открытка того времени, выпущенная Вениамином Вегманом в Сибкрайиздате, — отправление на фронт отряда Нестора Каландаришвили,



Открытка, выпущенная венгерскими военнопленными в честь лыжного соревнования, 1916 г.

одного из руководителей партизанского движения в Восточной Сибири во время Гражданской войны. В то время было не до видов города... А в 1924 году вышел альбом «Герои Гражданской войны в Сибири», и покупателям давали корешок, что, купив этот альбом, они вносят вклад в пользу инвалидов Гражданской войны.

Есть серия открыток «Из жизни частей Сибирского военного округа» — на одной из них мы видим аэроплан с названием «Комсомолец Сибири». Или вот такая открытка — «Газ пущен». Когда было крестьянское восстание Антонова в Тамбовской губернии, то по приказу Тухачевского при его подавлении использовали газ, боевые отравляющие вещества. Опыт сочли удачным, газ поступил на вооружение Красной Армии, и в Новосибирске вышла открытка, на которой изображены учения — «газ пущен». Что удивительно, здесь не побоялись выпустить, а вот в центральных издательствах таких открыток нет, видимо, цензура запретила.

Томскому художнику Романову в 1925—1926 годах разрешили в Новосибирске выпустить серию сатирических открыток (двадцать штук). Среди них были «Сов. барышня», «Аллилуйя», «Пред.» (председатель), «Врем. зам» (временный заместитель), «На исходящем» — сейчас бы такие открытки вряд ли вышли...

Первую большую серию с видами города издало новосибирское общество «Друг детей» — очень колоритные виды: начало строительства конструктивистских зданий, старый кинотеатр им. В. Маяковского (бывшее «Совкино»), старая часовня на Красном проспекте, возле Торгового корпуса мчатся лошади...



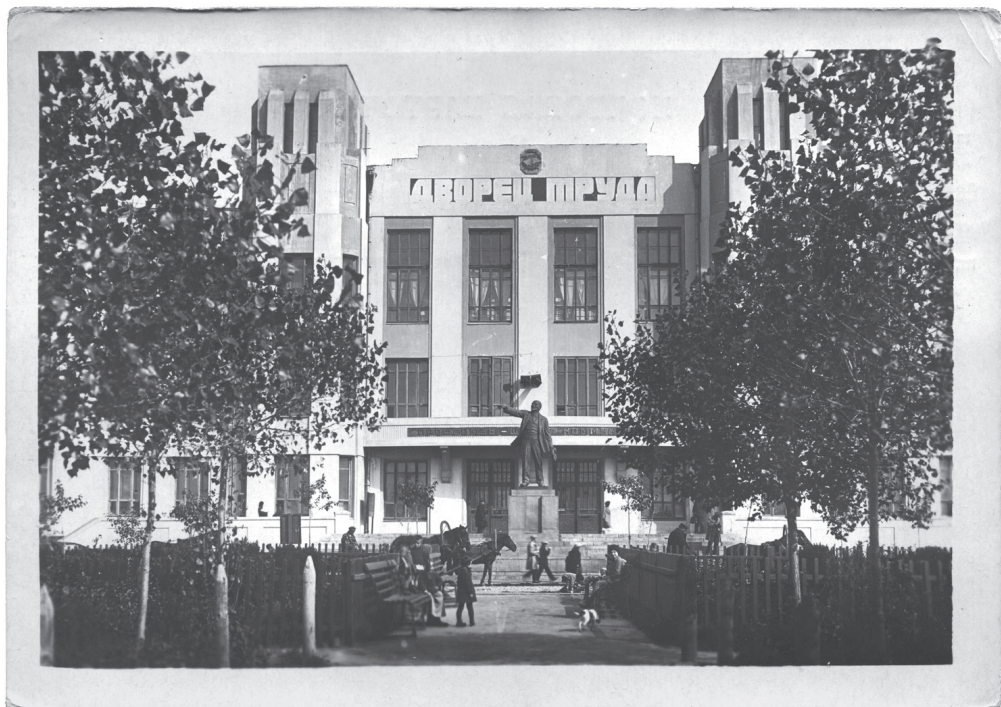
Первое мая в Новосибирске, 1937 г.

А вот открытка с путешествующим на велосипеде французом, который пропагандировал эсперанто, — он запечатлен на новосибирском железнодорожном вокзале. Здесь интересно, что открытка выпущена ГПУ и, с одной стороны, это пропаганда эсперанто, а с другой — понятно, кто приглядывал за путешественником.

В 1933 году ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий) выпустило огромное количество открыток, которые довольно интересны и очень познавательны, но абсолютно неизвестно, каково их количество. Заботилась о нас и Москва — в 1933—1934 годах вышла серия из двадцати открыток, причем каждая в трех цветах, что плохо для коллекционеров, ведь надо собрать не двадцать, а шестьдесят экземпляров.

— Почему в альбоме по довоенному Новосибирску, помимо открыток, у вас много фотографий и документов?

— Открытки и фотографии взаимосвязаны. Для краеведа ценна информация, которую несет изображение, и ему все равно, что это. Если мы хотим посмотреть, как выглядел памятник Сталину, то нам неважно — фотография это или открытка. А если фото сделано в формате открытки, то это — открытка, если другой формат — фотография. Кроме того, если есть хоть какой-то тираж, то фото тоже считается открыткой. Я сам фотографировал в детстве — и если делал пять-шесть оттисков, то это уже открытки.



Новосибирск. Дворец труда. 1932 г.



Новосибирск. Старт команды лыжников. 1927 г.



Новосибирск. Личный состав 2-го отделения народной милиции. 1929 г.

Все фотографии приходится хранить. Я не могу выбросить материал информационно более ценный для истории города, чем открытка. В чем тогда смысл коллекционирования?

В тот период самые интересные и многочисленные фотографии были у Ивана Моторина. У меня есть все его работы, за исключением двух открыток с Р. Эйхе, мы даже издали каталог и храним часть архива Моторина, переданную его дочерью в 1993 году. Моторина издавали и в 1960-х годах, и даже тогда по своей манере фотографирования он отличался от других фотографов.

Есть фотография фонтана в Первомайском сквере, сделанная в 1936 году фотографом Акмолинским. Можно сказать, что она выполнена не по-советски — человек явно видел фотографии Степанова, Родченко, хорошо знал про творческое объединение ЛЕФ. В то время это не особенно поощрялось, но в провинции можно было выпустить.

Тогда в нашем городе работали и другие фотографы: Беянин, Зильберштейн, Мелихов, Морган, Мясников.

Например, вот одна из фотографий Беянина — первомайская демонстрация. Такие фото (первомайских и октябрьских торжеств) собирать сложнее из-за меньших тиражей.

Фотограф Мясников запечатлел в 1937 году на площади им. Сталина знаменитый «черный воронок», и ничего подобного больше ни на одной новосибирской карточке нет. Нам остается только гадать, сделал он это случайно или преднамеренно, и, конечно, хотелось бы узнать его дальнейшую судьбу.

Есть загадочная фотография обелиска в честь Победы, установленного сразу после войны, — до сих пор неизвестно, почему его демонтировали и куда он исчез (по одной из версий, его сдуло ветром).



Новосибирск. Дети на физкультурном параде 18 июня 1938 г.

фото. А. Саломыхина. ф. 12.195.
Обллит №10664. Тираж 3000 экз. 9,5к.

Новосибирск. Дети на физкультурном параде 18 июня 1938 г.

Не все знают, что новосибирский театр оперы и балета в конце 1940-х годов выпускал открытки с портретами всех оперных артистов. Они малотиражные, но изредка попадаются, и особенно ценны открытки с автографами.

Во время Великой Отечественной войны в Доме офицеров проходила выставка трофеев, и есть пригласительный билет на два лица (тираж — триста экземпляров). На лицевой стороне очень грубый сюжет, правда, на почтовых марках запрещенный международными законами, — открытое убийство штыком. Почтовый союз еще до 1941 года принял закон, что на почтовых марках такое изображать нельзя.

— **Что самое интересное можно найти в третьем альбоме, после 1954 года, когда «открыли» город?**

— Кучу фотографий. Если говорить о полноте коллекции, у меня есть все. Но они достаточно малоинтересные, избитые — как выглядел город, магазины, памятник Покрышкину, оперный театр, Дом Ленина.

Сохранилась одна-единственная открытка с изображением памятника Сталину на Красном проспекте, выпущенная артелью «Культбыт» тиражом 3 000 экземпляров. Даже в этом загадка — почему не центральные издательства? Это какой-то мистический памятник — появился почему-то после смерти Сталина, а в 1961 году его снесли. Неизвестно, где он сейчас. Может, лежит на каком-нибудь складе на заводе...

Есть фото Александра Вертинского и его тапера Михаила Брехеса в Новосибирске, это 1956 год. Вертинский был в нашем городе два раза.

А вы знаете, что в Новосибирске в 1956 году был фестиваль молодежи и студентов? К этому событию даже выпустили значок и марку.



Новосибирск. Облисполком. После 1954 г.

И последняя открытка, которую я положил себе в альбом в 2014 году, — это открытие памятника Александру III.

...Самое интересное — это документы того времени. В третьем альбоме можно найти пригласительные билеты, информационные письма, автографы артистов. Например, пригласительные билеты на десятилетие Инженерно-строительного института, на новогодний утренник 1963 года для офицерских детей в новосибирский Дом офицеров, на Областной слет юных пионеров в 1958 году.

— **Станислав Алексеевич, легко ли быть коллекционером в Новосибирске? Много ли экспонатов еще можно найти на чердаках, антресолях, в сундуках?**

— Наш город из-за своей истории очень загадочный. Тяжело здесь коллекционеру, почти ничего не сохранилось. Он всегда был «перекати-полем», старожилы в нем мало, обычно все приезжали-уезжали, начиная с 1893 года. Приехали строители, но мало кто из них остался здесь жить, революция, было много ссыльных, после убийства Кирова сюда выслали ленинградцев, конечно, им хотелось вернуться назад любым способом, но жили десятилетиями, вплоть до 1950-х годов... Война, эвакуация, всегда хотелось уехать, суровый климат, поэтому ничего не сохранилось...

Двадцать лет нашему магазину, но ни разу не принесли, например, комплект дореволюционных газет, а в Петербурге всегда находят где-то на антресолях — двести лет газете, а она лежит как новенькая. Это все хранили, это было где хранить и кому хранить. Люди живут по одному адресу. А у нас где хранить? Жили примитивно. Какие антресоли? Старый город в



г. Новосибирск.

Сад им. Петухова

фото Моторин оп-6155
Крайлит № 6138 тир. 5000 ц. 25к.

Новосибирск. Сад им. Петухова. 1934 г.

основном снесен, постоянные переезды... Поэтому собирать историю крайне тяжело.

В Барнауле легче, я уж не говорю про Томск. А Ново-Николаевск — горе для коллекционеров! Ничего нет.

Несколько лет назад в Новосибирске в одной семье нашли в сундуке плакаты 1917 года, посвященные выборам в Учредительное собрание. Это был уникальнейший случай! Очень благодарен нашему краеведческому музею за возможность показать их в 2017 году.

А еще в Новосибирске нет традиции. Архивы, музеи и библиотеки Новосибирска — никто целенаправленно не собирал открытки по истории города, это казалось ерундой.

В «Сибирской горнице» мы выкладываем на продажу только третий экземпляр открыток по истории Ново-Николаевска — Новосибирска. Первый экземпляр идет в коллекцию, второй откладывается про запас, а третий — в продажу. В результате скопилось вторая, очень приличная, коллекция, которую приобрел у нас Музей Новосибирска — с условием, что мы им скопируем все, чего там не достает. А все, что попало в Музей Новосибирска, разошлось по интернету. С одной стороны — хорошо, этот материал должен быть доступен всем и его нужно изучать, но с другой — нет никаких ссылок, никаких комментариев: откуда эти открытки и фотографии, с каким трудом они нам достались...

*Беседовала Людмила Кузменкина,
журналист, исполнительный редактор
сайта «Библиотека сибирского краеведения»*

Редкие исторические документы, уникальные фотографии, неизвестные тексты знаменитых писателей, в том числе стихи Анны Андреевны Ахматовой, — сколько таких материалов было опубликовано



за двадцать лет нашего знакомства со Станиславом Алексеевичем Савченко на страницах журнала «Сибирская горница», а теперь и «Сибирских огней». Пора, наверное, составлять уже отдельную библиографию. Думаю, что со временем она будет составлена. Но сегодня — о другом. О том, что своими богатствами Станислав Алексеевич всегда делился щедро и бескорыстно. А это дорогого стоит. И за это — низкий поклон.

Любезный Станислав Алексеевич! Примите искренние поздравления с семидесятипятилетним юбилеем! Всех благ, здоровья и еще многих-многих трудов!

*От имени «Сибирских огней»
Михаил Щукин*

Михаил ХЛЕБНИКОВ
СОЮЗ И ДОВЛАТОВ

Главы из книги

Глава вторая

Пришло время перейти к тому, как развивалась в это время литературная карьера Довлатова. После возвращения из армии, 5 октября 1965 года он поступает на работу в многотиражную газету «За кадры верфям» Ленинградского кораблестроительного института. В ней он публикует не только чисто журналистские материалы: очерки, интервью, репортажи, отчеты, но и выступает также в качестве художника. Большинство текстов подписаны «Д. Сергеев». Оклад литсотрудника Довлатова — восемьдесят восемь рублей. В одной из заметок — «Инженер и современное искусство» — есть интересные рассуждения Довлатова о значении искусства в жизни гуманитария. Он не пропагандирует, как можно подумать, стремление к «широкому охвату» гуманитарной сферы, а советует понять, изучать то, что действительно интересно: «Сознательно отказавшись от ложной широты взглядов, вы сможете глубоко и прочно постичь те явления культуры, которые вам наиболее близки. У вас установятся интимные отношения с искусством, и вы не станете

обесценивать их в случайной беседе. Не гонитесь за друзьями-лириками. Смотрите, слушайте, читайте. Искусство отблагодарит вас за внимание».

Вскоре состоялся дебют Довлатова на страницах настоящего литературного журнала. В № 3 журнала «Звезда» за 1966 год публикуется его текст. Правда, это не проза, а рецензия. Обозревается сборник Феликса Кривина «Калейдоскоп», вышедший в прошлом, 1965 году в издательстве «Карпаты». Можно сказать, что Довлатову повезло с его первым автором. К сожалению, писательское имя Кривина сегодня несколько забыто. Но в свое время он имел большую и, наверное, заслуженную популярность. Поэтому не нужно удивляться, что журнал решил откликнуться на выход книги провинциального автора. Известность Кривин приобрел благодаря юмористическим и фантастическим миниатюрам. Форма как бы намекала на возможность широкого обобщения с туманными, но, безусловно, прогрессивными посылами. Например, миниатюра с актуальным для тех дней названием «Административное рвение»: «Расческа, очень неровная в обращении с волосами, раз-

вивала бурную деятельность. И дошло до того, что, явившись однажды на свое рабочее место, Расческа оторопела:

— Ну вот, пожалуйста: всего три волоска осталось! С кем же прикажете работать?

Никто ей не ответил, только Лыси-на грустно улыбнулась. И в этой улыбке, как в зеркале, отразился результат многолетних Расческиных трудов на поприще шевелюры».

Молодой рецензент, не заставляя себя, искренне хвалит автора: «Кривин как писатель не укладывается в традиционные литературные рамки. Его миниатюры принадлежат к трудному и своеобразному жанру, требующему от писателя изощренной наблюдательности, умения обобщать конкретные факты, придавая им символическое звучание, и выражать свои идеи в форме искусно построенных иносказаний. Но Кривин вырывается за пределы традиционной сказочной поэтики, выходит из круга привычных атрибутов жанра».

Следуя закону жанра, в финале Довлатов находит слова и для собственно критики, которая частично снимается общим благожелательным заключением: «Разумеется, не все равноценно в этом сборнике. Некоторые миниатюры кажутся легковесными и звучат на уровне простеньких каламбуров. Но Кривин давно покорила широкую аудиторию. У него есть свой читатель, человек осведомленный, умеющий оценить и тонкую мысль, и острое слово, отдавая при этом должное легкости и изяществу. Такой читатель с благодарностью примет новый сборник Кривина “Калейдоскоп”».

Интересно, что со временем Довлатов несколько изменил отношение к жанру, в котором работал Кривин. Вспомним повесть «Иностранка». Один из ее героев — заслуженный дис-

сидент Караваев — в молодости баловался литературой. В частности, он сочинил басню: «Дело происходит в зоопарке. Около клетки с пантерой толпится народ. Внизу — табличка с латинским названием. И сведения — где обитает, чем питается. Там же указано — “в неволе размножается плохо”. Тут автор выдерживает паузу и спрашивает: “А мы?!”»

Несколько прямолинейный символизм с выпирающей из него крупноформатной моралью чужд довлатовской стилистике. Но это относится к будущему. В начале же 1966 года Довлатов опубликовал рецензию на приятного ему автора. Назвать ее вхождением в литературу, конечно, нельзя. Скорее, Довлатов заявил о намерениях, продемонстрировав определенный навык литературного работника.

Параллельно Довлатов-прозаик пытается найти выход к читателю. Единственное число в данном случае — полноценное отражение действительности. Начинающему писателю нужна профессиональная оценка его первых рассказов. Но тут его ждало разочарование. Во-первых, тематика его рассказов, несмотря на правильные уроки Хемингуэя, оказалась далекой от эстетических исканий и обмороков тогдашней продвинутой литературной молодежи. Об этом Довлатов пишет на страницах того же «Ремесла»: «Я встретился с бывшими приятелями. Общаться нам стало трудно. Возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала шестидесятых годов, они интеллектуально расцвели. А я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои

ордена позвякивали, как шутовские бубенцы.

Я побывал на студенческих вечеринках. Рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали и возвращались к актуальным филологическим темам: Пруст, Берроуз, Набоков...

Все это казалось мне удивительно пресным. Я был одержим героическими лагерными воспоминаниями. Я произносил тосты в честь умерщвленных надзирателей и конвоиров. Я рассказывал о таких ужасах, которые в своей чрезмерности были лишены правдоподобия. Я всем надоел».

Слова писателя — не кокетливая игра на публику. Его, действительно, не хотели замечать и отмечать, он слабо вписывался в «ряды гениев», которые уже составлялись, уточнялись и оглашались. О том, что Довлатов в «списках не значился», с каким-то сладострастием пишет Валерий Георгиевич Попов в биографии писателя: «Краем уха о Довлатове слышали все, но литературная жизнь того времени была такой насыщенной и увлекательной, что его появление (так же как перед тем и исчезновение) сильного впечатления ни на кого не произвело». Еще до «исчезновения» — призыва в армию — Довлатов пытался получить литературное благословение, обратившись к уже знакомому нам Сергею Вольфу: «Нас познакомили в ресторане. Вольф напоминал американского безработного с плаката. Джинсы, свитер, мятый клетчатый пиджак.

Он пил водку. Я пригласил его в фойе и невнятно объяснился без свидетелей. Я хотел, чтобы Вольф прочитал мои рассказы.

Вольф был нетерпелив. Я лишь позднее сообразил — водка нагревается.

— Любимые писатели? — коротко спросил Вольф.

Я назвал Хемингуэя, Бёлля, русских классиков...

— Жаль, — произнес он задумчиво, — жаль... Очень жаль...

Попрощался и ушел».

Десятилетия спустя в журнале «Звезда» Вольф делился с читателями своими воспоминаниями о Довлатове. Знаменитый, ставший хрестоматийным эпизод в ресторане «Восточный» приобрел одновременно, как это ни странно звучит, и конкретность и невнятность: «Однажды подходит. Высокий, красивый, якобы застенчивый (да нет, застенчивый!) — огромный, право, на фоне портьеры между залом и, ну как его... не залом... То ли поклонился, то ли улыбнулся, то ли скомбинировал. Мне пятнадцать, ему — десять. А я покурить вышел, за столиком, где я сидел, я, видите ли, стеснялся. А то накурено, и скрипача Степу, росточком чуть ниже холодильника (куда его однажды и засунули), не видно. То ли Сережа в университете тогда учился, то ли учился писать, — не знаю. То ли знакомы были в быту, то ли нет. Но вот так, о литературе применительно к себе — нет.

— Я, — говорит, — извините, простите, пишу, пытаюсь писать прозу, а вы...

Запнулся. Он-то — никто. А я — мэтр. Уже написал ранние рассказы. В Питере, по углам, из-за моей прозы — переполох. Джойса, говорят, узнают по шороху крыльев. Кому какое дело, что я тогда только фамилию его, Джойса, и знал.

— Я... — говорит.

— Да, — говорю. — Так что же «я»?

— А вы — уже. Не прочли бы вы мои рассказы, так сказать, опусы?»

По причинам не литературного, но пресловутого внутреннего литературного свойства, я, кажется, ответил — нет. Да что там! — просто “нет”».

«Кажется, ответил “нет” по причинам пресловутого внутреннего литературного свойства» — пассаж, действительно, уровня Джойса. Вольф явно не простил и этого: «Жаль, — произнес он задумчиво, — жаль... Очень жаль...» И попытался ответить: «Отсюда, позже, окрепнув уже в некоторой наиболее общей технике свободного прозаического письма (это еще до дружбы с Воннегутом... или потом?), Сережа и родил мифчик, что-де я сказал ему “нет”, так как на столе “Восточного” меня ждала рюмка водки и я торопился. Скромнен был Сережа необыкновенно, осудил меня лишь за торопливость, а вовсе не за то, что я, наверняка польщенный вниманием юнца, его к этой моей рюмке все-таки не пригласил. Скромнен и вариативен необычайно. Позже, когда откуда-то сверху, с малых небес, ему велено было называть иногда меня “старый дурак”, он часто ловко уходил от общения, извиняясь по телефону, что — нет-нет-нет! — он занят, приглашен в гости к “приличным пожилым людям”».

Тут видим не только чудесные сочетания слов: «окрепнув уже в некоторой наиболее общей технике свободного прозаического письма». Наверное, помимо воли Вольфа, но из сказанного складывается впечатление, что Довлатов нанял Воннегута, который и писал за него «в наиболее общей технике». Понятно, что до встречи с автором «Завтрака для чемпионов» «Сережа» толком писать не умел. Подспудная мысль мемуарного текста Вольфа — обида и непонимание: за что Довлатова читают и любят? Автор пытается и

себя как-то заставить «полюбить», несмотря на обиду за «мифчик»: «Ведь сумел он сделаться оформившимся писателем, во многом, а то и целиком, оставаясь для меня “Серегой” и как бы вне его литературы, шутником, уже в России большим клаустрофобией во всех смыслах, хотя тогда не глобальной, хохмачом...» Получилось не очень, учитывая, что «мемуар» о «Сереге» — «шутнике» и «хохмаче» писался для специального «довлатовского» номера «Звезды».

В те дни, когда Довлатов вернулся со службы и поступал на службу в институтскую многотиражку, литературный Ленинград жил большим событием — ссылкой Бродского. Полтора страшных года изгнания поэта превратились в точку кристаллизации неофициальной литературы. Мгновенно оформилась и всеми была признана литературная иерархия. На ее вершине — северный Овидий. Ссылка Бродского приравнивалась к расстрелу Гумилева и гонениям на Ахматову и Зощенко в конце сороковых годов. Рядом с Бродским его сотоварищи — Рейн, Найман. Был объявлен и предатель — Дмитрий Бобышев, подвергнутый дружному остракизму. Причина его в том, что Бобышев «увел» у Бродского подругу — Марину Басманову. Дело вроде бы житейское, не общественного звучания, но совпавшее с гонениями на Бродского и последовавшей затем архангельской ссылкой.

«Проклятие» бывших друзей со временем не рассеялось, а только укрепилось. Не помогла даже эмиграция. Константин Кузьминский в поэтической антологии «У голубой лагуны» деланно или искренне удивляется: «Никто не хочет писать о Бобышеве. Виньковецкий слишком уважает его, с Гор-

баневской мой восточно-европейский диалог не состоялся, Леша Лившиц отказывается, придется мне.

А я о Бобышеве ничего хорошего написать не могу. Кроме того, что он поэт. Замечательный. И я бы сказал — второй по значимости в Ленинграде, после Бродского. А может, первый».

Судя по эффектному повороту: «а может, первый», составитель сознательно идет на провокацию, нагнетая. Но к тому времени это уже не играло особой роли. Поэтический табель о рангах был составлен, движения какие-то могли быть в третьей лиге, игры в которой серьезных людей не интересовали.

В 2004 году Евгений Рейн дает интервью. Как помним, в 1997 году выходят его воспоминания «Мне скучно без Довлатова». Время идет, тоска нарастает, даже удваивается. Интервью называется «Мне скучно без Довлатова и Бродского». В нем поэт касается и обструкции Бобышева.

«— Скажите, а вы с Найманом были с теми, кто после этого случая устроил Бобышеву обструкцию?»

— Это тонкая история. Процесс длился долго. Было два суда над Иосифом. К этому все больше подключалась ленинградская интеллигентская публика и околосредовая компания. Это был удобный случай отметить в безопасной оппозиционности.

Иосиф очень тяжело переживал роман Басмановой с Бобышевым. Он пытался даже покончить с собой. В Эрмитаже, где работали наши приятельницы, стеклом порезал себе вены.

Ему перевязали бинтами запястья и держали его в какой-то комнатке, чтобы родители ничего не узнали. Но слухи кружили в среде оппозиции, и именно в ней, а не в близком окружении Бродского возникла идея устроить Бобыше-

ву бойкот. Получалось, что этот негодяй присоединился к его гонителям тем, что увел девушку Бродского. Никаким гонителем Бобышев, конечно, не был. Но, по ситуации, враг моего врага... Ну, понятно».

Время затянуло раны — реальные и метафизические, но «след Сальери» тянулся за Бобышевым даже в эмиграции. Распались отношения и внутри оставшейся троицы поэтов. Бродский уехал в эмиграцию. Рейн и Найман переехали в Москву и разошлись по разным компаниям. Найман принял православие, чего Рейн не одобрил («стал бешеным неопитом, большим роялистом, чем сам король»), и начал писать мемуары — повод для еще большего недовольства со стороны Евгения Борисовича. Мемуариста Наймана он упрекает в написании неправды. Тут снова мистически всплывает тема еды — надеюсь, символическую «яичницу Пастернака» читатель не забыл: «Память у него цепкая, и Найман как бы ничего не выдумывает. Но, если ты пишешь пасквиль, ну, контаминируй, ну, сделай гротеск, ну, сочини что-нибудь — ты же литератор! Достоевский, который ненавидел Тургенева, все-таки придумал своего Кармазинова в “Бесах”. Но Найман не может подняться над эмпирической действительностью. Этому ему не дано. Пишет, например, что я пришел к кому-то на день рождения, принес трехлитровую банку абрикосового компота и сам ее съел. Может быть, так оно и было (хотя вряд ли мне это по силам). Ну, и что?..»

«Абрикосовый» след тянется из прошлого, в котором решались важные тогда задачи: кого объявить первым поэтом, а кто должен колдовским образом обернуться, явив свою черную сторону. Я не беру во внимание фак-

тическую сторону дела, меня интересует сам процесс структуризации. Со всеми этими эстетическими играми и историческими потрясениями Довлатов совпадал плохо, не попадая в такт. Переживания лагерного надзирателя на фоне «расправы» над Бродским могли показаться возмутительным легкомыслием или даже откровенным, сознательным кощунством.

Вернемся, после продолжительной «прогулки в сторону», к рекомендации будущего «абрикосового» клеветника Наймана отправиться на улицу Воинова. Также, как помним, прозвучало обещание-предложение показать рассказы Игорю Ефимову*. Найман свое обещание выполнил: Довлатова представили настоящему, состоявшемуся «прогрессивному молодому автору». Итог встречи — приглашение в литературный салон Ефимовых. О знакомстве с Довлатовым в их салоне рассказывает Валерий Попов — на тех страницах книги из серии «ЖЗЛ», на которых он вынужденно, отвлекаясь от собственной биографии, говорит о «персонаже»: «Скорее всего, мы могли первый раз “пересечься взглядами” с Довлатовым в известном тогда литературном салоне Ефимовых, существовавшем на Разъезжей улице в небольшой комнате в коммуналке, что нисколько не преуменьшало его значения и влияния. В один вечер там могли оказаться и Бродский, и Уфлянд, и Кушнер, и Марамзин, и Боря Вахтин, и Рейн, и Владимир Соловьев с женой Леной Клепиковой, и много других, кто в этот текст не влезает по причине его сжатости. И кому сестра было негде, тот стоял. Накал веселья и разговоров был такой, что порой забы-

валось, сидишь ты или стоишь, и вдруг выяснялось, что ты давно уже стоишь и некуда не то что сесть, но даже рюмку поставить. В той толпе, что собиралась у Ефимовых в званые дни, были знакомы не все, знакомились постепенно — и всякий раз оказывалось, что вы уже знакомы заочно».

«Пересекаться взглядами» в салоне у Ефимовых довелось Довлатову не только со своим будущим биографом. Вот как описывает свое знакомство с писателем Людмила Штерн, которая 15 ноября 1967 года в огромной коммуналке «на дне рождения Марины Ефимовой, жены Игоря, впервые увидела Сергея Довлатова»: «Обычно в день Маринино рождения у них собиралось около тридцати человек — поэты, писатели, в большинстве не печатаемые и не выставляемые, а также школьные или соседские приятели вроде меня.

Накануне дня рождения я позвонила Марине с обычными вопросами:

1. Что подарить?
2. Что надеть?
3. Кто приглашен?

На третий вопрос Марина ответила, что будут “все, как всегда, плюс новые вкрапления жемчужных зерен”.

— Например?

— Сергей Довлатов, знакома с ним?

— Первый раз слышу... чем занимается?

— Начинающий прозаик.

— Способный человек?

— По-моему, очень.

— Как выглядит?

— Придешь — увидишь! — засмеялась Марина и повесила трубку».

Не знаю, как отнесся бы Довлатов к содержательной стороне его характеристики в форме «вкрапления жемчужного зерна», но стилистически она вряд ли его обрадовала.

* Ефимов Игорь Маркович (1937—2020) — советский писатель, эмигрант. Автор скандальной книги «Эпистолярный роман с Сергеем Довлатовым».

К этому времени он предпринял и другие шаги, помимо посещения зна-ных вечеров у Ефимовых, в попытке обозначить себя в писательстве. Из явных достижений — новая публикация в августовском выпуске журнала «Звезда». Звучит, согласитесь, неплохо. Неплохо до того момента, как мы познакомимся с самим текстом. И снова перед нами рецензия, как и в случае с откликом на «Калейдоскоп» Кривина. На этот раз Довлатов откликается на мемуары Николая Евгеньевича Буренина «Памятные годы». Буренин — «старый большевик», участвовал во многих нелегальных партийных акциях: от устройства явочных квартир до переправки оружия. К его неярким, но похвальным достижениям следует отнести тот факт, что он сумел избежать репрессий конца тридцатых годов. Если перефразировать довлатовскую характеристику одного из его героев, то Буренин «неестественно не сидел». Будучи персональным пенсионером, он доживает до разоблачения «культа личности» и умирает в 1962 году.

Читая рецензию, понимаешь, что Довлатов пытался «закрутить» текст, придать автору мемуаров индивидуальность в духе героев авантурных романов: «...племянник петербургского городского головы, брат офицера лейб-гвардии кирасирского полка вел рассеянную жизнь богатого дилетанта, ездил на лихачах, одевался у лучших портных и был своим человеком в литературных и музыкальных салонах столицы. Его участие в благотворительных концертах для жителей пролетарских окраин воспринималось как очередная причуда баловня судьбы. Кто мог подумать, что Николай Буренин, используя в конспиративных целях свою репутацию, вы-

полняет сложные и ответственные задания партии».

Кроме этого, Довлатов «гуманизировал» привычный всем образ «старого большевика», благо что в биографии Буренина имеются для того основания: «Как бы своеобразным литературным фоном книги, так же как и всей жизни Буренина, является искреннее и бескорыстное увлечение искусством. Талантливый пианист, аккомпанировавший крупнейшим артистам России, Буренин с мастерством передает всю глубину и непосредственность восприятия Горьким народной итальянской музыки, с благодарностью вспоминает о его помощи в организации Общества изящных искусств».

Сегодня при некотором старании можно рассмотреть некоторые параллели между Довлатовым и случайным героем его первого «серьезного» текста: «рассеянный образ жизни», «быть своим в литературных салонах». Конечно, необходимо делать «поправку на время». Притаилось рядом и то, что будет отравлять жизнь Довлатову без всяких скидок на эпоху: «дилетантизм». Именно дилетантизм многие, знавшие Довлатова, приписывали ему, ссылаясь на «рассеянный образа жизни» и необязательность, поверхностность его литературной работы.

Со своим «сложным и ответственным заданием» рецензент, учитывая понятную ограниченность жанра, справился. В «Ремесле» Довлатов говорит: «Я уже не ограничивался службой в многотиражке. Сотрудничал как журналист в “Авроре”, “Звезде” и “Неве”. Напечатал три очерка и полтора десятка коротких рецензий. Заказы я получал в основном мелкие, но и этим дорожил чрезвычайно».

Также понятно, что Довлатов считывал на «поступательное движение вперед»: публикация рецензии как уверенный шаг к публикации прозы. При определенных раскладах можно считать, что новая рецензия — небольшой, но шаг вперед. От рецензии на художественную книгу автор переходит к отзыву на издание социально-политического характера. Из таких мелков шажков потенциально складывалась литературная карьера. Тот же Игорь Ефимов не брезговал печатать и свои рецензии в «Звезде», уже будучи членом СП.

Кроме свежей публикации в «Звезде» в копилку Довлатова можно добавить еще одну рецензию в «толстом журнале». Речь идет о публикации в № 10 «Невы» в том же 1967 году обзора сборника «На каторжном острове. Дневники, письма и воспоминания политкаторжан “Нового Шлиссельбурга” (1907—1917)». Рассказывая о героях книги, рецензент невольно создает впечатление о «каторжном острове» как своего рода «политическом университете», несмотря на «изуверский режим»: «Петров с гордостью рассказывает о том, как в условиях тюремного режима политкаторжане использовали все возможности для того, чтобы учиться, работать над собой, расширять научный и политический кругозор». Так же высоко оценивает свое пребывание в тюрьме Давид Трилиссер: «Заключенные, оторванные от жизни, налаживали в тюрьме общественную жизнь, организовывали коммуны, устанавливали взаимоотношения, основанные на доверии и товарищеской взаимопомощи. Политкаторжане не довольствовались устными дискуссиями: они писали статьи, создавали значительную рукописную литературу».

Подчеркивается роль «обаятельного южанина Гуссейнова» (Орджоникидзе), развлекающего товарищей рассказами о Пражской конференции и новых сочинениях Ленина. В конце рецензии Довлатов выражает уверенность: «Сборник воспоминаний узников Шлиссельбурга никого не оставит равнодушными».

Из интересного в рецензии — обозначение автора. Он именуется как «Д. Довлатов». Вряд ли перед нами псевдоним. Скорее всего, банальная опечатка в имени никому не известного рецензента.

Старшие товарищи Довлатова оценивали развитие автора трех рецензий и «рукописной литературы» сдержанно, можно сказать, «остались равнодушными». Отражалось это, в частности, на формате присутствия Довлатова на ефимовских вечерах. Красноречивое свидетельство Елены Клепиковой:

«На вечеринках у Игоря Ефимова, где гостей сажали, как в Кремле или Ватикане, по рангам, Сережа помещался в самом конце стола без права на женщину. То есть из тридцати гостей у педантичного Игоря трое самых ничтожных не могли приводить своих женщин. И Сережа, давая в себе позы восторга, весь вечер слушал парный конферанс Наймана и Рейна, сидящих по обеим сторонам от сопредседателей — Ефимова и его жены. Находясь в загоне, Сережа сильно киксовал и развлекал таких же, как он, аутсайдеров в конце стола. “Смотрите все!” — и подымал с пола стул за одну ножку на вытянутой руке. Говорил, что так может он и еще один австралиец. Единственное, что ему оставалось».

Сразу оговорюсь, что по отношению как к Ефимову, так и к другим лицам

автор явно пристрастен, но приведенное свидетельство рифмуется прежде всего с автопортретом самого хозяина вечера — рационального, считающего на ходы вперед.

Молодого автора с небогатым послужным списком и встретила Людмила Штерн на дне рождения Марины Ефимовой. В мемуарах она подробно воссоздает немалые диалоги той первой встречи. С некоторой осторожностью, учитывая как прошедшие десятилетия после знакомства, так и культурные наслоения на сознание (мемуарист уже знает, кого она «вспоминает»), следует говорить не о «воссоздании», а о «создании». Но портрет Довлатова тем не менее получился психологически убедительным.

«— По-моему, я не знаком ни с одной из вас, — сказал Сережа, протягивая руку сперва Эльжбете, потом мне, — Довлатов моя фамилия.

Я тоже назвалась.

— Что вы пишете, Люда Штерн, стихи или прозу?

<...>

— Ничего не пишу. Я инженер-геолог и занимаюсь слабыми грунтами, точнее суглинками и глинами. <...>

— И где же вы этими глинами занимаетесь?

— В Ленинградском университете.

— Как же, знаю, я там бывал. Меня выгнали с третьего курса филфака.

— За что вас выгнали?

— Точно не помню, но наверняка не за глины... Как странно, что вы ничего не пишете... У вас обеих довольно интеллигентные лица...

— Ну, извините, — засмеялась я.

— Нет, серьезно, при чем тут глина? Это же просто грязь».

Довлатов получает отпор от «иссле-

довательницы грязи», поспешно, хотя и с иронией, приносит извинения. Далее допрос о литературных пристрастиях: «Как вы относитесь к Фолкнеру?»

Желая продемонстрировать Довлатову, что сфера ее интересов не ограничивается глиной, Штерн заговорила о поэзии, шпаря наизусть Блока, Гумилева и Мандельштама. Довлатов вежливо молчал, но, как только она на секунду замолкла, он занял площадку и пересказал неизвестный ей роман Стивена Крейна «Голубой отель».

Знание русской поэзии — повод не только к продолжению знакомства. Вторая их встреча совпала с первым и последним сольным выступлением Довлатова в Советском Союзе в качестве писателя. Оно состоялось 13 декабря того же 1967 года. Публике молодого автора представлял Владимир Соловьев — ленинградский критик, вскоре переехавший в Москву. Их дороги пересекутся спустя двадцать лет, когда Соловьев поселится в том же районе Нью-Йорка, что и Довлатов. Показательно, что с Соловьевым знакомит Довлатова именно Ефимов. Об этом Довлатов упоминает в письме от 31 августа 1983 года, опубликованном в «Эпистолярном романе»: «Вожусь я, разумеется, не только с джентльменами... <...> Соловьева видел за пять лет — три раза, провел с ним в общей сложности — час, считаю его шукарем и гнидой, но, хочу напомнить — унаследовал его знакомство — от Вас».

Выступление же Довлатова зимой 1967 года прошло с успехом. Автор, в частности, читает рассказ «Чирков и Берендеев»: «К отставному полковнику Берендееву заявился дальний родственник Митя Чирков, выпускник сельскохозяйственного техникума.

— Дядя, — сказал он, — помогите! Окажите материальное содействие в качестве двенадцати рублей! Иначе, боюсь, пойду неверной дорогой!

— Один неверный шаг, — реагировал дядя, — ты уже сделал. Ибо просишь денег, которых у меня нет. Я же всего лишь полковник, а не генерал».

Уже в эмиграции Довлатов «пересобрал» рассказ, включив эпизоды из него в повесть «Наши».

Выступление закончилось, Довлатов общается с поклонниками, без следа, как отмечает Штерн, «надменности и высокомерия».

«Я тоже пробилась к нему и спросила:

— Вы могли бы дать мне почитать другие рассказы?»

— Да, да, конечно.

Он ринулся в зал, опрокинув на ходу стоящий в проходе стул, и через минуту появился со своей папкой.

— Вот, пожалуйста. Если понравятся, звоните в любое время дня и ночи, если не понравятся — не звоните никогда. И не потеряйте, и не порвите».

Далее следует монолог Довлатова. Трудно сказать, насколько он «фактичен» (будем надеяться на память автора, которой она так хвалилась), но несомненно, что он «довлатовский» по духу: «Я хочу, чтобы вы знали: кроме литературы, я больше ни на что не годен — ни на политические выступления, ни на любовь, ни на дружбу. От меня ушла одна жена и, наверно, скоро уйдет другая. И правильно сделает. Я требую постоянного внимания и утешения, но ничего не даю взамен. Ваше мнение очень для меня важно, потому что я испытываю к вам доверие. Вы так смеялись, когда я читал. Но упаси вас Бог довериться мне. Я — не-

надежен и труслив. К тому же пьющий».

Есть в сказанном элемент рисовки, некоторой игры на публику во всех смыслах слова. Но вся жизнь Довлатова подтвердила и показала наглядно — литература его главный и единственный выбор. В нем удивительно цепко и органично соединялись два вроде несводимых друг к другу начала: ощущение необходимости своего писательства и сомнение в своем таланте. Нужно признать, что окружающие всячески поддерживали сомнение. То, что могло сыграть в пользу первого, зачастую попросту не замечалось. После декабрьского вечера, уже в январе 1968 года, Довлатов участвует в коллективном проекте — вечере творческой молодежи Ленинграда. В поэтической части выступили Галушко, Городницкий, Уфлянд, Кумпан, прозаический раздел представляли Попов, Марамзин, Довлатов. Публике Довлатов представил уже обкатанный материал — «Чиркова и Берендеева». Естественно, что центральное выступление вечера — Бродский, читающий свои стихи. Его выход к публике должен был ударно завершить встречу. Публика отреагировала верно. По свидетельству очевидцев, «на вечере его выступление затмило все: он почти кричал — такая была вложена в его речь интенсивность переживаний. Принимали восторженно». И еще: «Дали Цаава, моя подруга, вспоминала, что Иосиф декламировал таким нервным и напряженным голосом, что она непроизвольно закрыла глаза».

«Неравнодушная общественность» не могла закрывать глаза и отреагировала заявлением от лица руководства литературной секции патриотического клуба «Россия» при Ленинградском обкоме ВЛКСМ.

Его авторы отметили общую нездоровую атмосферу вечера с момента его начала: «Что же мы увидели и услышали?»

Прежде всего огромную толпу молодежи, которую не в состоянии были сдерживать две технические работницы Дома писателя. Таким образом, на вечере оказалось около трехсот граждан еврейского происхождения. Это могло быть, конечно, и чистой случайностью, но то, что произошло в дальнейшем, говорит о совершенно противоположном».

Понятно, что две технические работницы не могли противодействовать и тому, что творилось на сцене: «Владимир Марамзин со злобой и насмешливым укором противопоставил народу наше государство, которое якобы представляет собой уродливый механизм подавления любой личности, а не только его, марамзинской, ухитряющейся все-таки показывать государству фигу даже пальцами ног.

А. Городницкий сделал «открытие», что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем да суеверной экзотики, ничего не было».

Даже тихая женская лирика звучала как-то по-особенному в атмосфере «открытий», «злобы» и «насмешливого укора»: «Не раз уже читала со сцены Дома писателя свои скорбные и злобные стихи об изгоях Татьяна Галушко. Вот она идет по узким горным дорогам многострадальной Армении, смотрит в тоске на ту сторону границы, на Турцию, за которой близка ее подлинная родина, и единственный живой человек спасает ее на нашей советской земле — это давно почивший еврей по происхождению, сомнительный поэт О. Мандельштам».

Понятно, что еще более «сомнителен» тунеядец Бродский, выступлением которого, как мы помним, вечер и закончился: «Он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы — русские люди, которых он иносказательно называет “собаками”».

Обратимся, наконец, к тому, какую реакцию вызвало выступление Довлатова. И тут снова мы сталкиваемся с особым смещением, поворотом. Вот как вспоминал довлатовский рассказ Валерий Попов: «Довлатов читал рассказ о том, как полковник с племянником, напившись, куда-то полетели. Это была простенькая вещь. Я не скажу, что она меня потрясла. Тогда все летали. Летать — это первое, что приходило в голову вольнодумцам».

Прохладное отношение со стороны коллег по сцене компенсировалось, как ни странно звучит, авторами из клуба «Россия»: «Трудно сказать, кто из выступавших менее, а кто более идейно закален на своей ниве, но чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. Таков Сергей Довлатов. Но мы сейчас не хотим останавливаться на разборе художественных достоинств прочитанных сочинений, ибо, когда летят бомбы, некогда рассуждать о том, какого они цвета: синие, зеленые или белые.

То, как рассказал Сергей Довлатов об одной встрече бывалого полковника со своим племянником, не является сатирой. Это — акт обвинения. Полковник — пьяница, племянник — бездельник и рвач. Эти двое русских напиваются, вылезают из окна подышать

свежим воздухом и летят. Затем у них возникает по смыслу такой разговор: “Ты к евреям как относишься?” — задает анекдотический и глупый вопрос один. Полковник отвечает: “Тут к нам в МТС прислали новенького. Все думали — еврей, но оказался пьющим человеком!..”»

Парадоксально, как повлияли выступления и «заявления» на судьбы участников вечера. Александр Горюничкин: «Я после выступления почти сразу уехал из Ленинграда: в 1968 году моя песня “Атланты” заняла первое место в СССР как лучшая песня советской молодежи. И меня послали на Белую олимпиаду в Гренобль как — ни больше ни меньше — “Шансонье СССР — 68”». Неприятности тем не менее последовали: «Но потом все репрессии, которых требовали наши обвинители, были применены. Мою книжку “рассыпали”, мне было отказано в приеме в Союз писателей. На 14 лет я попал в черные списки — меня нигде не печатали». Трудно сказать, насколько «репрессии» завязаны на январском вечере 1968 года. Например, у Татьяны Галушко через три года выходит книга стихов «Равноденствие». Валерий Попов уже в 1969 году выпускает свою первую книгу «Южнее, чем прежде». Выступление Бродского — еще один шаг к его поэтической славе, неофициальному статусу первого поэта страны. Его не печатали, но не замечать Бродского уже было нельзя.

Довлатову достался только благожелательный отзыв ленинградских борцов с сионизмом, признавших его талант. Полученную окольными путями копию «заявления» Довлатов ценил по необходимости. Проблема заключалась в том, что его не только не печатали, но и не признавали. Еще раз напомним чекан-

ное: «Его появление (так же как перед тем и исчезновение) сильного впечатления ни на кого не произвело». Якову Виньковецкому, также участнику вечера, Довлатов делает подарок. Из воспоминаний Дианы Виньковецкой: «После этого знаменитого вечера, для более близкого знакомства, Довлатов прислал Якову книжечку “Тля” Шевцова (было такое произведение, осуждающее все виды несоциалистического искусства) с надписью: “Абстрактной, художественной тле от тли литературной”».

Важно, что энтомологическое самоопределение не было следствием официальной критики, которая Довлатова просто не знала, а вытекало из общего дружеского отношения к его прозе. Вскоре Довлатов получает другой, куда более профессиональный отзыв на свою прозу.

В декабре 1967 года он отправил в «Новый мир» несколько своих рассказов. Очень быстро приходит ответ от Инны Соловьевой — известного театроведа и критика, сотрудничавшей со столичным журналом. Довлатов полностью помещает отзыв в «Ремесле»:

«Эти небольшие рассказы читаешь с каким-то двойным интересом. Интерес вызывает личная авторская нота, тот характер отношения к жизни, в котором преобладает стыд. Беспощадный дар наблюдательности вооружает писателя сильным биноклем: малое он различает до подробностей, большое не заслоняет его горизонтов...

Программным видится у автора демонстративный, чуть заносчивый отказ от выводов, от морали. Даже тень ее — кажется — принудит Довлатова замкнуться, ошестиниться. Впрочем, сама демонстративность авторского невмешательства, акцентированность его молчания становится формой при-

сутствия, системой безжалостного зренья.

Хочется еще сказать о блеске стиля, о некотором щегольстве резкостью, о легкой браваре в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом, для других — невероятным и пугающим».

Далее Инна Натановна отмечает, что на рассказах Довлатова лежит отпечаток «прозы для своих», жалеет как таковых молодых писателей, лишенных доступа к читателю. Автор верит, что «Довлатов освободится от излишеств литературного самоутверждения», но сетует, что это не откроет перед талантливым автором журнальных страниц. В общем-то, благожелательный отзыв. Есть только вопрос из области формальной логики: как можно освободиться от излишеств литературного самоутверждения, если в итоге перед автором не открывается путь на журнальные страницы? Где и каким образом избыть временный, но столь досадный недостаток?

Глава третья

Несколько слов о выборе журнала. Исходя из круга общения Довлатова, можно предположить, что он отправит свои тексты в «Юность», пойдет путем автора «молодежной прозы», который привел к успеху Ефимова. Но, судя по деталям рецензии («уникальный жизненный материал... невероятный и пугающий»), речь шла о рассказах, которые позже вошли в «Зону». Именно «Новый мир» открыл повестью Солженицына «лагерную тему» в литературе того времени. Выбор темы и журнала показателен.

Довлатов не хочет в очередной раз писать о сложном внутреннем мире

молодого героя, который не поступил в институт, непросто расстается со школьными иллюзиями (первая любовь, предательство друга), получает закалку в трудовом коллективе, а потом и повестку из военкомата. Напомню о судьбе молодого беллетриста Стасика Потоцкого из «Заповедника», который пошел в писатели ради вина и женщин: «Прочитал двенадцать современных книг. Убедился, что может писать не хуже. Приобрел коленкоровую тетрадь, авторочку и запасной стержень.

Первое же его сочинение было опубликовано в «Юности». Рассказ назывался «Победа Шурки Чемоданова». Юный хоккеист Чемоданов много возомнил о себе и бросил учебу. Затем одумался. Стал прекрасно учиться и еще лучше играть в хоккей. Произведение заканчивалось так:

«— Главное — быть человеком, Шурка, — сказал Лукьяныч и зашагал прочь.

Шурка долго, долго глядел ему вслед...»

Выбор «Юности» как места дебюта молодого, может быть, даже прогрессивного, талантливого автора неслучаен. «Молодежная проза», как я уже говорил, удивительно быстро, за несколько лет, выродилась, утонув в самоповторах и штампах. Герой Довлатова не только успел получить повестку, но уже вернулся из армии с «уникальным жизненным материалом», требующим разговора на другом уровне, отличном от «долго, долго глядел ему вслед».

Думаю, что Довлатов ощущал в этом отношении некоторую двойственность. Не без оснований он полагал, что «эксклюзивность материала» может повлиять на восприятие текста: этика заслонит эстетику. «Срывание покро-

вов», «кровоточащая правда жизни» вызовут должный отклик, который нельзя будет назвать по-настоящему читательским. Не зря Инна Соловьева говорит об «отказе от выводов, морали». Другое дело, что в этом нет «заносчивости» и «демонстративности». Мораль в неакцентированном виде у Довлатова была всегда. Об этом еще будет разговор. Что касается требуемых «выводов», то одна из проблем «Нового мира» и его авторов тех лет — определенный, школьного замеса, дидактизм, который не всегда имеет отношение к морали как таковой. Впрочем, непонимание столичного журнала хорошо рифмуется с реакцией на рассказы из будущей «Зоны» и лиц из ленинградского круга Довлатова. Вернее, кругов, с которыми писатель как-то пересекался. Небольшого объема, хотя очень емкие мемуары Виктории Беломлинской. Ее муж — Михаил Беломлинский — известный художник. Он, кстати, иллюстратор детских книг Игоря Ефимова, начиная со сборника «Высоко на крыше». Подруга Беломлинской, Людмила Штерн, позвала ее на чтение рассказов Довлатова. Штерн хвалит нового знакомого, Виктория принимает приглашение: «Он тогда читал куски из “Зоны”. Кончил читать, и все стали бурно восхищаться. А я, помню, сидела в каком-то недоумении: все-таки мне странным показалось, что вот это, наверное, первый случай в русской литературе, когда писатель описывает заключенных не изнутри, а снаружи, когда позиция писателя — не заключенного страдальца, а охранника».

Хорошо, Беломлинская — взгляд несколько со стороны на Довлатова и его прозу. А вот слова того, кто временно являлся как профессионалом

в литературе, так и был связан с Довлатовым дружескими отношениями. Андрей Арьев — прозаик, критик, в будущем соредактор «Звезды». Из его интервью Николаю Крыщуку в петербургской газете «Дело»:

«— Насколько мне известно, ни Валерий Попов, ни Андрей Битов здесь, на родине, не ценили Довлатова как писателя. У тебя тоже так было? Или ты уже в Ленинграде оценил его литературное качество?»

— В общем, да. После того, как он вернулся из армии и написал “Зону”. До этого в нем было слишком много самоценного юмора, чтобы расценивать его серьезно. Видимо, так к нему и относились окружавшие его литераторы. Плюс к тому он был моложе всей тогдашней питерской когорты, прорвавшейся вперед. Моложе Попова, Битова, Грачева, Вахтина, даже меня немного моложе».

Вызывает уважение честность Арьева, который не стал «подробно вспоминать» о своей высокой, не совпадающей с мнением большинства, оценке прозы Довлатова. А она, в отличие от оценки многих «друзей и почитателей» писателя, ставших таковыми после его смерти, — реальна. Об этом Довлатов пишет в одном из писем в конце 80-х, обсуждая вопрос о своих публикациях на родине: «В ленинградском журнале “Звезда” с некоторых пор заведует отделом критики Андрей Юрьевич Арьев, мой старинный друг, который еще 25 лет назад интересовался моими писаниями».

О различии в поколениях я уже говорил, и здесь также могу согласиться с мнением Арьева. Но вот загадочное высказывание по поводу «самоценного юмора», которого оказалось «слишком

много», требует перевода или хотя бы толкования. Можно предположить, что в такой несколько неуклюжей формулировке Арьев пытается сказать, что в человеческом измерении писатель казался крупнее, интереснее написанного им.

Уже в начале писательского пути Довлатов не попадал ни в один из двух актуальных трендов эпохи: «молодежную прозу» или «новомировскую прозу». Но в любом случае попытка с «Новым миром» — тактически правильный ход. «Бросок на Москву» как попытка преодоления узости ленинградской литературной жизни. В душноватых мемуарах Дмитрия Бобышева есть хорошее объяснение ее особенности на примере одного из ленинградских классиков: «Геннадий Гор. Прозаик-фантаст, пишет для юношества, с сочувствием относится к литературной молодежи. Отнюдь не какой-нибудь идеологический маркобес, но, конечно, советский писатель: долбаный, дрюченный, “проваренный в чистках, как соль”, — добавим из уже найденного нами тогда Мандельштама. И — что он может сделать для Вольфа, например? Или — для Наймана, начавшего пером любопытствовать в прозе? Рейн, кстати, тоже пустился повествовать и рассказывать о своих камчатских шатаниях не только в стихах. Да и я сочинил несколько безыдейных опусов в духе Олеси. Вряд ли этот робкоголовый Гор заступится за нас, загнанных в темный угол. Его и до “Литгазеты”-то не допустят. Он может лишь угостить нас чаем с печеньем, что он и делает».

Вольф, как помним, отказавшись от чая с печеньем, решил проблему с помощью «дружбы с Олешей». Московский литературный мир был сложнее и перспективнее. Множество издательств, журналов позволяли лавировать, «ис-

кать свое и своих» даже молодому автору. Опека со стороны «старшего товарища» ускоряла процесс вхождения в литературу. Ситуация в Ленинграде была принципиально иной. После всех «усушек» и «утрясок» ленинградские писатели остались только с двумя полноценными журналами: «Звездой» и «Невой». При этом «Нева» появилась только в 1955 году. На 1958 год в ЛО СП СССР состояли 314 человек при общей численности членов СП в 4801 человек. Такая концентрация творческих кадров не могла не привести к трудностям на пути к печатному слову даже у профессиональных писателей. Давайте учтем, что небогатыми печатными ресурсами ленинградцы должны были по необходимости делиться с «классиками со стороны». Так, на страницах «Невы» появились вторая часть «Поднятой целины» Шолохова, «Туманность Андромеды» и «Лезвие бритвы» Ефремова. Отличались тиражами и издательства. Напомню, что первая книга Ефимова вышла в 1964 году в ленинградском отделении «Детской литературы» тиражом в 30 000 экземпляров. В московском «материнском» издательстве мы встречаем совсем другие числа. Близкий 1962 год. Сборник Юрия Томина «Атлантида» — 100 000 экземпляров. Неплохо, а бывает еще лучше. «Баранкин, будь человеком!» Валерия Медведева — 150 000 экземпляров. При всей внешней громкой славе Ленинграда, ленинградские писатели находились в положении, не слишком отличающемся от положения писателей в каком-нибудь крупном областном центре.

Ресурсная ограниченность прямо отражалась на политике, которую проводила верхушка ленинградской писательской организации. Неваж-

но, кто рулил: условный «консерватор» или не менее условный «либерал». Вопросы решались насущные: тиражи, издания, переиздания. Понятно, что тактически «консерваторами» считаться, выглядеть предпочтительнее. Идеологическая выдержанность давала определенные очки. Москвичи могли позволить себе «либеральные игры», имея определенную «подушку безопасности». Тот же Симонов за неполных полтора десятка лет два раза уходил с должности главного редактора «Нового мира», успев в промежутке побывать главным редактором «Литературной газеты». Уход же с писательской должности в Ленинграде означал одно — крах. Переходить было особо некуда, можно было лишь перебраться в столицу.

Известный пример такой «эмиграции» — переезд в Москву Всеволода Кочетова. В 1952 году к нему приходит большой успех после публикации романа «Журбины». Книга о династии потомственных пролетариев получила известность не только внутри страны. «Журбины» перевели на ряд языков, включая английский, китайский, немецкий, испанский. Писательская удача сопровождалась и административной карьерой. Кочетов в 1953 году получает должность ответственного секретаря правления Ленинградского отделения СП. Такое быстрое возвышение нарушило хрупкий баланс в писательском сообществе. В борьбе против «выскочки» объединились представители писательских кланов, до этого не замеченные в дружбе. Соединенными усилиями в конце 1954 года Кочетова забаллотировали, он не прошел по результатам голосования в правление писательского союза. И хотя он потом, в 1955 году, полгода проработал заместителем

главного редактора новообразованной «Невы», всем было понятно, что на этом карьера Кочетова в Ленинграде закончилась. Не помогла тут даже идеологическая выдержанность Кочетова, который, действительно, не просто следовал официальному курсу, но ощущал себя «солдатом партии». При этом ошибочно считая оппонентов Кочетова выразителями либеральных, прогрессивных взглядов. Например, неоднократно он нападал на трижды лауреата Сталинской премии Веру Панову, которая прославилась в конце пятидесятых годов высказыванием: «Хватит с нас этой возни с реабилитированными». Особую весомость словам придает тот факт, что к числу посмертно реабилитированных относился ее второй муж — Борис Вахтин, отец двух сыновей Пановой. Одного из них, Бориса, и своего третьего мужа Панова всячески отговаривала от участия в кампаниях по защите Бродского, Даниэля и Синявского.

Первый удар по Пановой был нанесен на страницах «Правды». Там в конце мая 1954 года в рубрике «Заметки писателя» появилась статья Кочетова «Какие это времена?», посвященная роману Пановой «Времена года». В начале Кочетов объясняет читателю необходимость ее написания: «Я бы не взялся писать о романе В. Пановой “Времена года”, если бы литературная критика хотя бы в какой-то мере определила место этого произведения в советской литературе. Толки о романе В. Пановой самые разнообразные и разноречивые. Одни говорят, что это роман социально-психологический, другие считают его бытовым, третьи заявляют: это “сама жизнь”, наконец, есть и такие мнения, что “Времена года” — роман о воспитании». Непростую задачу — разобраться в разно-

лосиде мнений — ставит перед собой Кочетов. Сначала он, демонстрируя объективность, в пяти строчках хвалит автора и его книгу: «Нельзя не присоединиться к тем, кто утверждает, что в романе собран обширный жизненный материал, что изложен он хорошим слогом, что роман читается легко, что в нем поставлены некоторые вопросы жизни». Далее начинается «вместе с тем» — ради чего, собственно, и написана статья. Автор упрекает Панову в странной особенности ее дарования. Страницы, посвященные «лихим двадцатым» — эпохе нэпа, написаны «хорошим слогом» и «читаются легко». Но, когда Панова переходит к современности, роман художественно проседает. Есть повод задуматься... Кроме того, следуя порочному принципу объективизма, романист рисует сомнительные безыдейные картинки с жизни: «И не поэтому ли никто по-настоящему не осужден в романе? Коммунист Борташевич застрелился. Ушла от ответственности за антиобщественное воспитание сына коммунистка Дорофея Куприянова. Ушел от ответа молодой мерзавец Геннадий». Идея о том, что «так тоже бывает», неизбежно приводит к рецидиву мещанской литературы, которая и процветала в двадцатые годы. Кочетов делает закономерный вывод: «С моей точки зрения, этот роман не только не движет нашу литературу вперед — он может толкнуть некоторых писателей на путь мещанской беллетристики, чуждой духу советской литературы».

По воспоминаниям известного критика Андрея Туркова, когда Кочетова упрекали в нанесении удара по тяжело болевшей в то время Пановой, «бестрепетный Всеволод Анисимович заявил: “Мы, дескать, и впредь будем крити-

ковать своих противников, не наводя справок об их здоровье”».

В том же 1955 году Кочетов переезжает в Москву и становится во главе «Литературной газеты». Но еще в 1954-м, предчувствуя скорое падение, Кочетов «передает всем привет» в романе «Молодость с нами», в котором, рассказывая о «судьбах советской интеллигенции», он вывел многих недоброжелателей или тех, кого считал таковыми. Формально роман не имел отношения к ленинградской литературной жизни. Место действия — безымянный крупный город, но не Ленинград, что подчеркивается в тексте. Основные действующие лица не писатели и даже не представители гуманитарных профессий. «Молодость с нами» рассказывает о научно-исследовательском институте, занимающемся вопросами металлургии. Как видим, Кочетов надежно защитил себя от обвинений в прямом очернительстве коллег.

На должность директора института приходит Павел Петрович Колосов — главный инженер металлургического завода. Он недавно потерял жену и пытается забыть в работе. Проблема в том, что институт погряз в склоках, групповщине, поэтому никак не реагирует на производственные нужды. Лидером самой мощной партии является Серафима Антоновна Шувалова — профессор, орденосец, дважды лауреат Сталинской премии. Она внешне расположена к Колосову, предлагает помощь, советует «присмотреться» к тем или иным сотрудникам института. Панова «проступает» сквозь Шувалову постепенно. Сначала автор рассказывает о семейной жизни Серафимы Антоновны: «Злые языки любят посмеяться над ее мужем, над Борисом Владимировичем: дескать,

вот человек, который известен только тем, что он муж Шуваловой, мужчина на побегушках, мужик в доме. Но ведь надо еще знать и те обстоятельства, которые привели ее к близости с Борисом Владимировичем». Шувалова знакомится с мужем во время войны в блокадном Ленинграде. Фотокорреспондент Борис Владимирович Уральский спасет ее от голодной смерти. А вот уже эти детали непосредственно указывают на Панову. Многие считали ее супруга — Давида Яковлевича Дара — «мужем при жене». Среди ленинградских писателей ходила не слишком приятная эпиграмма:

**Хорошо быть Даром,
Получая даром
Каждый год по новой
Книжечке Пановой!**

Причина подобного мнения — скромное писательское положение Дара. Как и у Шуваловых, знакомство писательской четы состоялось в годы войны. Следующие «этапы дешифровки» относятся уже к бытовым деталям. Автор подчеркивает исключительно удачное решение «квартирного вопроса» семейства Шуваловых: «Видите, как ее ценят у нас в городе! В каком курятничке горсовет выделил ей квартиру! Князя да графя так, бывало, квартировали. — Белогрудов говорил это уже на лестнице отделанного мрамором просторного вестибюля». Тут же вновь поднимается тема «неравного брака» сталинского лауреата: «Все есть у Серафимы Антоновны, всего вдовсталь, — продолжал он. — При этом избытки духовного и материального ей бы мужа поумнее. Мы все скорбим за нее. Диспенсироваться бы ей от товарища Уральского».

Говоря о «доме с кариатидами» с «мраморной лестницей в вестибюле», Кочетов имел в виду знаменитый писательский дом в Ленинграде. Речь идет о доме Адамини на Марсовом поле. Его жильцами в те годы были известные писатели, научные работники: Юрий Герман, Леонид Рахманов, Борис Мейлах. Квартиру в нем получила и Панова после присуждения ей Сталинской премии.

Следующий маркер. Собравшиеся у Шуваловой гости проводят время за карточной игрой. Панова любила играть в преферанс, любовно говорила о «пулечке-голубушке». Не раз компании за карточным столом ей составлял Всеволод Анисимович Кочетов. Она позже вспоминала: «Отличный партнер, играет легко, шутник, остроумец, душа общества. Говорили мне, что зубы-то у него волчьи, а злобности на троих хватило бы. Играл в преферанс, а у него был булыжник за пазухой. Взял и запустил в меня».

Камней у Кочетова хватало. В его романе Шувалова-Панова пытается не просто затащить Колосова-Кочетова в свою «бандочку». Она пускает в ход женские чары, недвусмысленно предлагая себя новому директору института. Помимо меркантильных соображений ею движет сексуальная неудовлетворенность. Вот ее монолог: «Да, Шувалова имеет немало высоких наград. Но она ведь женщина! Вот что надо понять. А женщина, не задумываясь, отдаст все реальное за одну лишь надежду на возможное душевное счастье. Женщина отличается от вас, мужчин, тем, что вы умеете находить счастье там, где она не умеет, тем, что вы умеете быть счастливы своим трудом, общественным положением, всем, что дает вам это положе-

ние. А для женщины все это ничто без личного счастья, и все это приобретает для нее значение только тогда, когда и в сердце ее входит счастье. Вы меня понимаете или нет, Павел Петрович? Почему вы молчите?»

Павел Петрович промолчал, но за него многое сказал Всеволод Анисимович. Отвергнутая Шувалова организует компанию против Колосова, обвинив его в подозрительном покровительстве Варе — подруге его дочери Ольги. Серафима Антоновна обвиняет Колосова в том, что он устроил свою молодую любовницу на работу в институт и способствует ее стремительной карьере. Понятно, что Шуваловой движет не только холодный расчет, но месть отвергнутой женщины.

Журнальная версия романа Кочетова вышла в «Звезде» в трех номерах — 9, 10, 11. Отчетно-выборное собрание ЛО Союза писателей, на котором прокатили Кочетова, прошло 6—8 декабря 1954 года. Согласно легенде, «протестное голосование» организовал Давид Яковлевич Дар. Наряду с важными организационными вопросами тема последнего романа Кочетова приобрела равное им значение. Из мемуаров Кирилла Косцинского — одного из главных скандалистов среди ленинградских писателей. Он пробился к микрофону и пламенно выступил: «Я говорил о недопустимости административного руководства литературой и о критиках, чьи вкусы и литературные оценки удивительно счастливо совпадают со штатно-должностным расписанием правления Союза писателей. И, наконец, заметил я, посредственный роман одного ленинградского писателя, совершенно не замеченный столичной или союзной критикой, был встречен потоком восторженных статей в ле-

нинградской прессе только потому, что автор этого романа был ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза писателей и членом обкома партии. Речь шла о “Молодости с нами” Всеволода Кочетова».

Серафима Антоновна все-таки дотянулась до «инженера человеческих душ»... Я подробно говорю об истории с кочетовским романом не только из-за живости и живописности фактуры, подтверждающей тезис о непростой и насыщенной жизни ленинградского литературного мира. Как ни странно, этот эпизод напрямую пересекается и даже рифмуется с Довлатовым. Многие знают, что Довлатов работал литературным секретарем у Веры Пановой. В 1967 году его познакомил с матерью Борис Вахтин. К тому времени писательница перенесла инсульт и нуждалась в помощи. Поэтому Довлатов часто бывал в доме на Марсовом поле.

Но с домом Адамини связана и другая — более драматичная — довлатовская история. Помимо названных писателей в нем жила семья другого сталинского лауреата — Бориса Федоровича Чирскова. Довлатов был хорошо знаком с его сыном Федором, который также пробовал себя в литературе. Между ними существовала дружба-соперничество, утяжеленная влюбленностью Чирскова в первую жену Довлатова Асю Пекуровскую. Вспышки в таком случае неизбежны. Об одном таком эпизоде вспоминает Попов: «Однажды он даже вызвал Сергея на поединок. Сергей, на голову выше Феде, был настроен насмешливо-добродушно, но Федя с ходу ударил его, и папириска в Серегиных зубах разлетелась искрами. Их стали разнимать — и тогда Федя потребовал пойти и продолжить бой у него дома, в квартире на Мар-

совом поле, где им никто не будет мешать. И там сразу же двумя мощными “теннисными” ударами сбил огромного Довлатова с ног и пошел молотить, и Сереже пришлось бы туго — но друзья прекратили побоище, с трудом оттащив разъяренного Чирскова». В последней фразе проскальзывает легкое недовольство автора: друзья могли бы оказаться менее расторопными, а Феде явно не хватило точности и акцентированности ударов. Отступив на поле боя, Довлатов не забыл поражения. О том, как он ответил, — впереди.

Но центральный эпизод на первый взгляд диковатой связки Кочетов — Довлатов относится к куда более позднему времени. Первая опубликованная книга Довлатова «Невидимая книга», вышедшая в 1977 году в знаменитом издательстве App Arbog, вызвала оживление в литературных кругах. Связано это было не столько с оценкой писательского мастерства Довлатова, сколько с тем, что он использовал имена настоящих ленинградских писателей: как признанных, так и находившихся в глубоком литературном подполье. Сам Довлатов позже определил свой прием: «Доброжелательные иронические зарисовки. Нечто вроде дружеских шаржей». Книгу прочитал Дар, который в 1977 году эмигрировал в Израиль. Он не увидел в ней «доброжелательных зарисовок» или «дружеских шаржей». Реакция последовала в своеобразной форме. Снова Довлатов: «Наводнил Ленинград призывами избить меня». Как и в случае с Кочетовым, вселенная откликнулась на просьбу: «Его призывы неожиданно реализовались. Я был дважды избит в отделении милиции. Правда, за другие грехи». Как бы ни относиться к супругу Веры Пановой, но он явно обладал каким-то особым даром. Вскоре Довла-

тов также эмигрировал. Между ним и Даром завязывается переписка с целью «объясниться». Дар аргументировал свой клич «бить морду»: «Эта международная кампания была инспирирована вашим панибратским отношением к вашим же несчастным современникам. Я обиделся за Володю Губина, Юру Шигашова, Холоденко, Алексеева и других весьма талантливых, на мой взгляд, писателей, которые в отличие от вас не обладают могучей, исполинской фигурой, атомной энергией, вашей армяно-еврейской жизнеспособностью. Подтрунивать можно над победителями — Львом Толстым, Владимиром Набоковым, Андреем Битовым, Сергеем Довлатовым, но подтрунивать над спившимися, припадочными, несчастными, всеми оплеванными, честными, мужественными ЖЕРТВАМИ литературы, на мой взгляд, непорядочно».

Объяснение достойное и вызывает уважение. Но кроме этого, переписка содержит мотив, возвращающий нас к событиям середины пятидесятых. Дар снова говорит о том, что болело когда-то, но так и не отпустило его: «Читающая публика в России знала меня не только как мужа Веры Пановой и отчима Бори Вахтина. Даже Володя Марамзин узнал меня только благодаря книжке моих рассказов лет за десять до того, как подружился с Борей Вахтиным. И в первом издании “Краткой литературной энциклопедии” ничего не сообщается ни о моих женах, ни о моих пасынках.

Ничего не сообщалось о моих родственных связях ни в газете “Известия”, разоблачившей меня как космополита, ни в Постановлении Ленинградского обкома партии о моих сказках. Речь повсюду шла только обо мне как о писателе (ненастоящем, в этом они с вами разошлись). А в журнале “Вопросы ли-

тературы” вы могли бы прочитать, что Корней Иванович Чуковский в 66-м году называл меня “замечательным писателем”, не зная того, что я — отчим Бори Вахтина и муж Веры Пановой. И это я пишу вовсе не для того, чтобы подтвердить его оценку, так как сам не считаю себя “настоящим писателем”. Иначе я не назвал бы свою последнюю книжку “Исповедью безответственного ЧИТАТЕЛЯ”».

Если Дар возвращается, наряду с темой «битья морды», к непростому вопросу о том, кто кому муж, спустя четверть века после «инцидента», то не трудно представить остроту проблемы горячей осенью 55-го года. Безо всякой конспирологии, имея представление об особенностях литературной жизни «колыбели революции», можно предположить, что голосование было кем-то организовано. И Давид Яковлевич имел на то все основания. «Странное сближение» двух разных книг, двух абсолютно непохожих друг на друга писателей. В большей степени случайность, игра случая. Но и на краю оговорки судьбы проступает нечто сближающее их. Оба позволили себе уйти от чистой «литературности», оба перенесли на страницы книг свое отношение к коллегам по писательскому цеху. Осуждать/воспевать товарища Сталина разрешали себе многие. За этим следовали хорошо понятные, иногда приятные и небесполезные в перспективе «отдачи»: «принципиальная позиция коммуниста» или «смелое разоблачение ужасов тоталитарного режима».

Глава четвертая

После «эмиграции» автора «Молодости с нами» вынужденный антикочетовский союз распался, писатели

разбредлись по привычным группам влияния, продолжилась тихая, но упорная борьба за социальные и профессиональные блага. Войти в эту среду — сложная задача со многими переменными, включая административные рычаги воздействия, соответствие «запросам эпохи», элементарную удачливость. Высокая цена входного билета породила феномен ленинградского самиздата. К середине шестидесятых годов сформировалось поколение молодых писателей, которые «успели» опубликоваться хотя бы в коллективных сборниках, получить «признание» в стенах ЛИТО (литературных объединений). Последние понимались как «кузницы кадров» для молодых авторов. Как правило, они существовали при домах культуры, вузах, ими руководили профессиональные писатели. Через них можно было попробовать «прорваться» на печатные страницы.

Одновременно существовали молодые авторы, которые не рассматривали для себя такую возможность. Они писали, не рассчитывая даже гипотетически на успешное прохождение своих текстов. К ним, например, относился Александр Кондратов. Родившийся в 1937 году — одноклассник Ефимова — Кондратов окончил Ленинградскую школу милиции, а затем Институт физкультуры и спорта. Под псевдонимом Сэм Конрад он пишет стихи и прозу. Его центральная прозаическая вещь — роман «Здравствуй, ад!». Говорящее название не обманывает, роман написан под явным влиянием Генри Миллера, Селина, Оруэлла. Вот отрывок из романа, который можно сравнить с рассказами из «Зоны» Довлатова:

«Когда будем брать Кондратова, товарищ полковник?»

Под праздники, лейтенант.

Значит, есть время... Поздно-с! “На арест есть санкция”. Выдал — САМ. Печать с когтями вместо подписи. Котел номер два. Третья секция. Ату его! Старшина, общите! С полчиными — готов!

Первое отделение — судьи. Прокурор, адвокат, режиссер, спектакль... Уголовно-процессуально: бейте по жопе. Не время брать его за яйца, ныне гуманизм. Вот то-то же! То-то!

Что? Недоволен? Попался уж — сиди. Не чирикай, попав в дерьмо, голубчик. Что-что? По закону все, по закону... И — добавить жар, раз хочет убежать. Отсюда, милый друг, не убегают. Заруби это на жопе, если не хочешь на носу... Опять бежать? Ну, это слишком! Часовой на вышке! Не зевай, Мухитдинов, Абкаев, Фомин! Жарь ему в спину из автомата! Зорче стой на боевом посту — бди в оба!.. Падаешь? Корчишься? В судорогах?.. Что?.. По закону, мать твою пять, по закону... По закону, подонок, пис-с-сатель, говно!»

При всем «гуманизме» — представить подобный текст на страницах советского журнала невозможно. Рассказы же Довлатова могли туда пробиться при некоторых раскладах. Вплоть до конца 60-х годов граница между дозволенным, дозволенным условно и запретным в литературе, как и в культуре вообще, определялась опытным путем. Проблема для Довлатова состояла как раз в том, что препятствия на пути к читателю не зависели от его воли. Они возникали сами по себе, «самозарождались». Из всех мемуаров, в которых речь идет или заходит о Довлатове, воспоминания Дмитрия Бобышева мне представляются наиболее интерес-

ными благодаря авторской позиции. Бобышев честно говорит, что Довлатов ему неприятен. Во время, когда многие «вспоминатели», стиснув зубы, пишут о «дорогом друге Сереже», подобная откровенность дорогого стоит. Вот характерный эпизод из «Человекотекста»:

«...В то время ко мне обратился Довлатов (как вначале мне показалось, всерьез) с идеей самиздатского сборника, наподобие несбывшихся “Горожан”:

— В общих чертах все уже “обмозговано”, извините за этот советизм, — надо только изобрести хорошее название.

— Название? Вот оно: “Быть или не быть” без вопросительного знака!

— Зачем же, к чему здесь пессимистическое “не быть”? Мы как раз хотим именно “быть”.

— Это же “Гамлет”, а символически — все мы принцы датские. К тому же, у меня есть стихотворение, дающее на знаменитый вопрос ответ, и не только мой личный: “Быть и противобыть”. Такая строчка могла бы даже стать девизом...

Приставка “противо” Довлатова явно не устраивала.

Неприятие «Быть и противобыть» лишний раз свидетельствует о хорошем вкусе Довлатова. Бобышев же выводит отказ от «яркого названия» сборника из конформизма коллеги: «Он был нацелен на профессионализм, на гонорары, на верное, даже на членство в СП, отнюдь не на солидарность отверженных».

Именно Ефимову, показавшему, как «это может получиться», Довлатов был благодарен. Путь Ефимова — нестыдное вхождение в профессиональную литературу, с «членством в СП» и даже гонорарами. Ефимов не только

принимал напечатавшегося автора в своем салоне. Он на какое-то время дал ему иллюзию возможности благородного вхождения в профессию. Речь идет о той самой группе «Горожане», которую помянул Бобышев.

Говоря о «салоне Ефимовых» и группе «Горожане», следует понимать, что они представляют собой явления одного процесса. Легкий литературный дебют подтвердил мнение Ефимова о самом себе — он удачлив. Свои успехи он расписывает по десятилетиям, начиная с детства. Вот началась война. Ефимова с матерью эвакуируют. Анна Ефимова получает направление на работу — преподавателем в колонию для малолетних преступников в нескольких десятках километров от Казани. Там Игорь безбедно проводит военные годы. Да, случались неприятные события. Так, мемуарист внезапно заболел непонятной болезнью и четыре месяца провел в постели. Но как он их провел? «Пока я валялся в постели со своей загадочной и нестрашной болезнью, строил крепости из маджонга, листал альбомы с фотографиями и попивал кагор (каждый день мне давали рюмочку для “улучшения пищеварения”), далекий и неведомый мир грохотал, обливался огнем и кровью, перекраивал границы государств, покрывался трупами, дымящимися городами, рухнувшими соборами и вокзалами». Замечу одно: большинству сверстников Игоря Ефимова улучшать пищеварение не требовалось.

Публикации состоялись, книги вышли, писательский билет получен. Удачу нельзя отпускать. Следующий шаг — утверждение себя в профессиональном сообществе. С этим проблема. Как уже говорил неоднократно, ограниченность ресурсов порождает жесткий контроль за ними. Битова, Ефимова, Кушнера

«приняли в писатели» по необходимости, делиться с «молодыми» чем-то серьезным никто не собирался. Битов решает проблему переездом в Москву. Кушнер, как многие поэты, позволял себе странные вещи. Из воспоминаний Николая Крыщука — редактора того самого филиала «Детской литературы», с которого и началась книжная судьба Ефимова. Готовится к печати новая книга Кушнера. Александр Семенович обращается к издательству: «Он узнал, что предполагаемый тираж его книги — 50 тысяч. Это неправильно. У него нет такого количества читателей. Тираж надо сократить, иначе книга будет лежать на прилавках, а это стыдно. На все наши уверения, что читательская аудитория у него еще больше, чем тираж сборника, А. С. раздраженно отмахивался: “Не надо мне говорить! Я же лучше знаю!”» Конечно, есть соблазн списать эпизод на «игру», но почему-то другие авторы так шутить не рисковали.

Ефимов в шестидесятые, уже после принятия в СП, выпускает две книги в той же «Детской литературе»: отдельным изданием «Таврический сад» в 1966 году и переиздает в 1969-м сборник «Высоко на крыше». Его заход на территорию детской литературы был вынужденным. Писать для детей ему явно не хотелось, просто это был наиболее быстрый и удобный путь к «настоящей литературе». Из интервью Ефимова радио «Свобода» в 1998 году: «Я считался детским писателем и входил в секцию детской литературы в Союзе писателей Ленинграда. Там можно было, заузив себя на этой тематике, не касаться каких-то тем, которые волнуют взрослого серьезного человека. И тогда ощущение невольной неправды если не исчезало совсем, то притуплялось в

достаточной мере». Кстати, «заузили» себя многие ленинградские писатели. И нельзя сказать, что подобная «ограниченность» повредила им как писателям. Вспомним Виктора Голявкина, знакомого нам Сергея Вульфа, написавшего в семидесятые хорошую фантастическую повесть для детей «Завтра утром, за чаем». То, что Ефимов написал не самые удачные детские книги, не делает его автоматически автором взрослой прозы. Удача в детской литературе — не следствие отказа от серьезной прозы.

Лидия Гинзбург оставила интересное замечание, касающееся предмета нашего разговора: «Любопытно следить, как жанр рождается из обстоятельств. Из отсутствия бумаги. Из исключения тем не только враждебных, но и нейтральных. Из социального заказа, который становится социальным соблазном — соблазном нужного дела или точного ответа на вопрос. И тотчас же опять взрыв нетерпения и бросок за писательской свободой. Когда свобода невозможна, суррогатом свободы становится условность. Оказывается, что условные темы менее обусловлены, потому что в них меньше контактов с действительностью. Писатель бежит от реальной темы к условной. По дороге он стучается лбом о многочисленные закрытые двери, пока не влетает в полуоткрытую дверь детской литературы, за которой меньше опасных контактов».

Но благодаря именно «условности» возникает эффект смежности — настоящий «детский автор» литературно вкладывается не меньше, а где-то даже и больше творца «большой литературы». В конце концов, формально Евгений Шварц «переписывал» всем известные сказки, «приспосабливая» их под нужды современности.

Чай и другие — менее детские — напитки ждали молодых ленинградских авторов на Разъезжей улице у Ефимовых. Интересно, что многие мемуаристы отмечают закрытость характера хозяина салона. В воспоминаниях Крыщука Ефимов фигурирует под инициалами И. Е. и показан человеком «строгим и немногословным». У Попова: «умный, основательный Игорь Ефимов», «хмурым, озабоченный Игорь Ефимов». Наконец, Довлатов. Из «Ремесла»: «О Ефимове писать трудно. Игорь многое предпринял, чтобы затруднить всякие разговоры о себе...»

Здесь я прерву цитату и вернусь к тексту Довлатова позже. Он важен для понимания многого. Пока же из сказанного становится понятным, что Ефимов не был компанейским человеком, он умел держать дистанцию. Понятно, что салон Ефимовых открылся по необходимости — не из желания видеть новые лица, заводить дружбу. Необходимость — желание стать неофициальным центром силы молодого литературного Ленинграда. Полученный писательский билет дал возможность почувствовать себя первым среди прогрессивных прозаиков. Тут можно говорить о некотором разделении литературного пространства. В поэтической части безраздельно царствовал Бродский. Смерть Ахматовой пятого марта 1966 года была воспринята «общественностью» как передача трона наследнику — Бродскому. Отмечу, что событие, произошедшее также пятого марта, но ранее, в 1953 году, — смерть Сталина — вызвало куда более ожесточенную борьбу за престол. На прозаическую часть ленинградской литературной «поляны» претендентов было больше, но острой борьбы не наблюдалось.

Но для деловитого Ефимова салон — важный, но не слишком эффек-

тивный ресурс влияния. Ставка делалась на иное. Речь идет о литературной группе «Горожане», странное «участие» в которой принял и Сергей Довлатов. История ее начинается с ЛИТО библиотеки имени Маяковского. Именно его посещал знакомый нам Владимир Марамзин. Там Борис Вахтин познакомился с молодыми прозаиками — Владимиром Губиным, Владимиром Марамзиным и Игорем Ефимовым. Вахтин предложил им объединить усилия для преодоления препятствий на пути к читателю. Авторы составили сборник, дали ему название «Горожане» и представили его в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель». Сборник оказался в издательстве в начале января 1965 года.

Напомню, что в январском номере «Юности» печатается «Смотрите, кто пришел!» Ефимова. Его участие в сборнике — рассказы «Скрытый смысл жизни», «Я забыл название», «Автоматика», «Монтекки и Капулетти», «Начальник стенда», переделанные и включенные позже в авторский сборник Ефимова «Лаборантка». Читая же сборник «Горожане», понимаешь, что авторы живут в разных городах. Возьмем повесть Владимира Марамзина «История женитьбы Ивана Петровича». В начале автор расписывается в своем уважении к Андрею Платонову: «Иван Петрович смотрел на свои фотографии детства. В возрасте двенадцати лет он понравился сам себе больше всего. Это был мальчик с состриженными коротко волосами, не кидающийся чужому взгляду и без особого даже на это желанья, с лицом, исходящим вовсю чистотой».

Потом следует урок освоения наследия обэриутов: «Вообще Иван Петрович был человеком на редкость

правдивым, и это часто ему шло во вред. Сначала он учился на инженера-электрика, дошел до третьего курса, но никак не мог себе представить электрон. Понимание электрона все усложнялось, и немногие представляли его себе в полной мере, какой он такой?» — и волна и частица.

— Да вы бы поверили, и дело с концом, — говорили Ивану Петровичу все.

— Нет, — отвечал Иван Петрович печально.

— Как же поверить, если я не представляю? Я не могу, значит, быть инженером, если я не представляю себе электрона.

— Да примите же его как аксиому! — говорили ему и смеялись над ним.

— В это надо верить однажды, и все, — убеждал Ивана Петровича замдекана.

— Да чего там ломаться-то, надо верить! — говорили ему ассистенты, студенты, профорг, комсорг, парторг, инженеры, гардеробщица, мать, лаборантки, буфетчица тетя Наташа, вахтер в проходной и кондуктор в трамвае.

— Нет, не могу, — отвечал виновато Иван Петрович. — Я уж должен представить. Ведь электрон же, — на нем все основано, все электричество!»

Проблемы теоретической физики отступают перед другим животрепещущим вопросом — сексуальным. Иван Петрович знает, что женщины жаждут «вечного ближнего боя». Одну из атак лихой Иван Петрович проводит на лестничной площадке, провожая случайную знакомую. Все описывается нудно, обстоятельно, с заходом в экзистенциализм: «Так они стояли у окошка, прижавшись, вернее, девушка позволила ему к ней прижаться; немного дольше, чем нужно, был он уже в этом состоянии нежности, и девушка опять

удивилась, потому что приготовилась к продолжению боя. Когда наконец он пустил свои ладони гладить везде, где бы им захотелось, девушкины руки крепко их хватали, как жандармы, на окраинах платья — хотя и не прежде — и тут же опять отсылали их к центру, то есть к середине платья, на талию.

Долго продолжался этот бой, с постепенными уступками и отвоеваниями, Иван Петрович всего не упомянул, он был только уверен в своей правоте, он честно знал: это так все и нужно — все, что он делал, и даже досада одолевала не очень, потому что девушка постепенно сдавалась. И каждый раз, когда рука добиралась до теплой, живой кожи тела, Иван Петрович от волнения вздрагивал, словно добирался до голой, живой, человеческой сущности этой девушки, уже не закрытой от него в скорлупу».

Подражательность интонации и приемов прозы Марамзина хорошо были заметны и тогда. Приведу замечательный отрывок из мемуарного очерка Льва Лосева, который, увы, так и не успел полностью закончить книгу своих воспоминаний: «Влияние, подражание — так мне казалось тогда. Марамзин сначала писал под Голявкина, а теперь пишет под Платонова. Получается хорошо, похоже, но у Платонова все равно лучше. Как-то Марамзин пожаловался: “Я стою в Лавке писателей, разглядываю книги. Подходит Рейн с большим портфелем и, не говоря ни слова, со всей силы ударяет меня этим портфелем по голове. “Женя, — говорю, — за что?” Он говорит: “За то, что плохо пишешь”»».

Борис Вахтин в повестях и рассказах предлагаемого сборника демонстрирует выученность уроков «Серрапионовых братьев». Вот сцена из повести «Летчик Тютчев, испытатель»: «Часть населения

нашего дома сидела на лавочке возле котельной и миролюбиво беседовала.

— Если, конечно, так, — сказал бывший рядовой Тимохин, — то значит, в этом смысле все так буквально и будет.

— В этом буквально смысле, я считаю, и будет, — сказал писатель Карнаухов.

Но летчик Тютчев сказал:

— Я не согласен. Если бы так было, то уже было бы, но так как этого ничего нет, то значит, и вероятности в этом уже никакой нет.

Старик-переплетчик прикурил у летчика Тютчева и сказал:

— Вот оно как получается, если вникнуть».

Борис Иванов в литературной энциклопедии «Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е» с уважением пишет: «Творчество Вахтина — пример глубокой трансформации литературного языка, вслед за переоценкой ценностей, когда существовавший до этого язык был уже не в состоянии свидетельствовать о действительности, напротив — препятствовал этому».

Все хорошо. Но «если вникнуть», как советовал мудрый старик переплетчик, то тексты авторов «Горожан» объединяет лишь одно качество — вторичность. И неважно, кто кому подражает или у кого учится. Смешно, что, запустив сборник на второй круг, соавторы пишут к нему звонкое предисловие: «Чтобы пробиться к заросшему сердцу современника, нужна тысяча всяких вещей и свежесть слова. Мы хотим ответственности нашего слова, хотим слова живого, творящего мир заново после бога».

Желание достойное, но, как убедительно показали авторы, трудновыполнимое на практике. Путь к «закупорен-

ным» сердцам современников оказался тернистым.

Появление «Горожан» в издательстве «Советский писатель» не произвело какого-то яркого впечатления. Напротив, Вера Кетлинская в отрицательной рецензии приходит к небезосновательному выводу о «горожанах»: «К концу сборника нагнетающее, тяжелое и безотрадное настроение... <...> Какими серо-коричневыми очками прикрыли авторы свои молодые глаза!»

Об оттенках при желании можно и поспорить, но в яркости соавторов, действительно, обвинить трудно. Вторая рецензия — одобрительная — принадлежала ленинградскому прозаику Александру Розену.

Интересно, что у предполагаемого издания имелись, кроме всего прочего, рекомендация для издательства и вступительная статья. Автором их был... Давид Яковлевич Дар. Вопрос о семейственности повис в воздухе. Здесь явно не хватало ядовитого пера Всеволода Анисимовича. Без скандала и разборок издательство вернуло «горожанам» их щедрый подарок. Соавторы не унывали и снова отправили сборник в то же издательство, украсив тексты отрицательными отзывами и новым предисловием: «С читателем нужно быть безжалостным, ему нельзя давать передышки, нельзя позволить угадывать слова заранее».

По поводу безжалостности, пожалуй, соглашусь. Есть такое. А вот по поводу «угадайки» скажу, что словесное жонглирование может быть интересно в литературном цирке, но как яркий короткий номер: между клоунами и медведями на велосипедах. Когда так строятся тексты подряд, то очень быстро возникает усталость от языкового стекла. Кстати, в конце вступительной

статьи-манифеста соавторы срываются, пропадает бодрый, в стиле ранних футуристов, тон и появляется интонация великого гоголевского персонажа, лишившегося прекрасного наряда — «на шелку, с двойным мелким швом». Слушаем: «Почему мы не имеем права объединиться в одной книге, как творческие единомышленники, — почему, почему, почему?»

Отмечу, что никаких репрессий в отношении соавторов не последовало. Более того, через несколько месяцев Игорь Ефимов «каменел» и «отшатывался» на приемной комиссии, когда его почти втолкали в ряды советских писателей. Вышло, как помним, книжное издание «Смотрите, кто пришел!». Владимир Марамзин не мог похвастаться такими достижениями, но и у него дела шли неплохо. В 1966 году он публикует детскую «познавательную» книгу «Тут мы работаем». Отрывок из нее под названием «Портрет завода как он есть» с подзаголовком «Рассказы человека, не всегда абсолютно серьезного» напечатали в «Юности» в декабрьском номере того же года. Нужно признать, что, хотя содержание официальных и самиздатовских текстов Марамзина не совпадает, стилистически они гармонируют. Итак, автор рассказывает подрастающему поколению о прелести работы на крупном промышленном предприятии: «Когда я начал работать на заводе, я думал, что там будет все не такое, как в моей прежней жизни. В нашей школе, например, меня долго отучали от веселости, от живого характера.

— Привыкайте быть серьезными, — говорила нам часто учительница литературы Лидия Сергеевна. — Если сейчас не привыкнете, то потом на работе вам достанется лихо.

Сама Лидия Сергеевна никогда не смеялась, потому что давно приучила себя быть серьезной.

И потом мне не раз приходилось слышать, что, готовясь работать, а особенно на заводе, надобно спрятать в карман всякие свои черты характера, кроме настойчивости, пресерьезности и разответственности.

— Детство кончилось. Все! — говорили мне многие, словно бы с удовольствием. Мол, повеселились, поиграли — и хватит: отрабатывайте нынче за это».

Говорившие неправы: работа на заводе — радость. И начинается работа-радость уже на подходе к месту трудовой вахты: «Утром все мы идем на завод. Кто уже проснулся, а кто на ходу досыпает. Кто торопится, а кто спокойно ему говорит:

— Не торопись, никто твой станок не займет.

Вся улица понемногу втягивается в проходную завода.

И вдруг из проходной мы услышали музыку. Самую веселую музыку. И даже не одну, а сразу две музыки, то есть одну, но из двух колокольчиков, которые селятся друг друга обогнать.

Кто еще не проснулся — тот разом проснулся. А кто был вялый по природе — тот сразу стал по природе не вялый.

— Идем, как на танцы, — сказал Жора Крекшин из соседнего цеха.

— Заманивают нас в завод с утра пораньше, — сказала тетя Настя, а сама довольна, даже пошла поскорее, хотя и знает, что станок не займут.

Оказывается, было решение завкома: по утрам давать из проходной людям музыку. Для утренней бодрости.

Заботится завком о нас о всех с утра пораньше».

Неожиданно в сознании картины «праздника труда» смешиваются с по-

хождениями любвеобильного Ивана Петровича: «Моя соседка по квартире Тоня работает в нашем цеху на монтаже.

Тоня работает хорошо, но всегда говорит своему мастеру:

— Ты меня подхваливай, так я как лошадь работать буду».

Вполне возможно, что трудовой порыв Тони находит свое продолжение в подъездной сцене. Там, как помните, крепкие, «как жандармы», пальцы незнакомки (работа на монтаже сказывается) мешали Ивану Петровичу познавать на практике прекрасное. Возникает представление об обратной хронологии единой писательской вселенной Марамзина. Подросток с отставанием в развитии после крепкой заводской закалки поступает по «рабочей квоте» учиться на инженера-электрика, получает от автора имя-отчество и вылетает с третьего курса после эпохальных вопросов о природе электрона. Читая «официальные» журнальные тексты Марамзина «из сегодня», невольно задаешь себе вопрос: видели ли «второе дно» тогдашние редакторы или принимали его за неумелую, хотя и идейно правильную стилизацию косноязычной речи пролетарского подростка?

Через три года Марамзин снова радуется ленинградскую детвору, издается его новая книга с названием «для своих»: «Кто развозит горожан». Кроме того, все там же, в «Юности», в 1968 году появляются два его небольших текста в юмористической рубрике «Пылесос» с подзаголовком: «Из цикла “Рассказы горожанина”». Второй привет был передан. Отдельные рассказы печатаются в антологиях и коллективных сборниках. Параллельно развивается диссидентская карьера Марамзина. Начинается она, впрочем, с отстаивания прав самого Владимира Марамзина.

Вот как рассказывает об этом Ефимов: «После многолетних усилий ему удалось заключить договор с издательством “Советский писатель” на издание сборника рассказов. Но после вторжения в Чехословакию в 1968 году атмосфера сгустилась, и издание книги откладывали год за годом. Марамзин подал в суд на издательство, а потом с судебной повесткой ворвался в кабинет директора и устроил там настоящий погром. Его привлекли к суду за хулиганство».

Отмечу, что инцидент, по свидетельству Льва Лосева («запустил чернильницей в морду директора издательства»), произошел, собственно, в 1968 году, поэтому «год за годом» — слишком сильное преувеличение. Марамзину повезло, приговор носил мягкий характер — условный срок. Гуманизм советского суда, как тогда писалось в газетах, привел к тому, что состоявшийся хулиган Марамзин распоясался и пополнил список преступных деяний новыми эпизодами.

Он активно распространяет «тамиздат» и «самиздат». В истории последнего он оставил след как составитель пятитомного собрания сочинений Бродского. Для Марамзина диссидентство было игрой, карнавалом, который можно прекратить без особых последствий. Из воспоминаний Ирины Вахтиной: «Естественно, это попало в поле зрения людей, связанных с организацией, естественно, стали приглядываться, кто туда ходит, что там такое, как они там собираются. Начиная с 1968 года начали следить. Я помню, в начале 70-х годов Володя представлял, как они придут, будут звонить, он им не откроет, они будут ломать дверь. Мне даже кажется, что иногда он на рожон лез».

В 1974 году дверь пришлось открыть, последовал арест. Хотя нуж-

но признать, что некоторая атмосфера «праздника» присутствовала в момент этого невеселого действия. Из воспоминаний Дианы Виньковецкой: «“Владимир Рафаилович — это не первоапрельская шутка”, — сказал сотрудник всемирно известной организации (какой юморист!), когда они пришли обыскивать Володину квартиру».

На суде Марамзин полностью признал вину, покаяться и получил условный срок. Особое негодование просвещенной публики вызвал даже не сам факт «раскаяния», а то, что после приговора Марамзин поцеловал руку прокурору. Естественно, прокурор был женского пола. На мой взгляд, это пример не сервильности, а следование тому самому «языческому началу» в личности Марамзина. Ну и при желании можно увидеть в поступке писателя парафразу из классики: «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку».

В 1975 году Марамзин благополучно эмигрировал во Францию. Понятно, что его злоключения лежат за пределами истории с «Горожанами».

Ровно через год после инициативы с изданием сборника пострадал Борис Вахтин, но также по другому поводу. Его отстранили от ведения на Ленинградском телевидении передачи «Русский язык» за мысль о необходимости сохранения дореволюционных топонимов. Телевизионные репрессии не помешали ему в этом же 1966 году посетить Китай. Поездка носила рабочий характер. Вахтин — профессиональный востоковед с ученой степенью кандидата филологических наук — имел крепкие позиции в академическом сообществе. Вахтин заведовал Дальне-

восточным кабинетом Ленинградского отделения Института востоковедения. Кроме того, он уже был членом СП, заслужив высокое звание своими переводами с китайского языка. Не будем забывать и об исключительном положении его матери.

Для Вахтина участие в проекте «Горожане» носило характер умеренно острого развлечения. Особые дивиденды от него не ожидались, но при определенных раскладах успех был возможен. Что касается общих человеческих качеств Вахтина, то большой интерес представляет предисловие к посмертному собранию его художественной прозы. Автор предисловия — Игорь Ефимов. Оно намного интереснее пресного «мемуарного портрета» Вахтина в «Связи времен»: «Умел очень эффективно влиять на ход закулисной борьбы в писательских организациях и принял самое активное участие в перевыборных кампаниях, завершившихся скандальным провалом обкомовских кандидатов на пост первого секретаря Ленинградского отделения Союза писателей — сначала Александра Прокофьева, а несколько лет спустя — Олега Шестинского». Пример, хорошо опровергающий присутствующую у некоторых авторов биографических исследований излишнюю биологизацию мотивов и действий своих героев. Хотя Давид Дар не был «кровным отцом» Вахтина, но явно оказал весомое практическое влияние на формирование своего пасынка. Не менее интересно интервью Ирины Вахтиной ленинградскому неофициальному журналу «Сумерки», к которому я буду обращаться неоднократно. Вот что она говорит о характере своего мужа: «Ему были тесны рамки, он все время старался за них выйти. Он много, конечно, занимался Китаем, он делал переводы, он

сделал две большие работы, которые до сих пор не опубликованы, они идут, но идут очень медленно. Эти работы отнимали очень много времени, и Боря много над ними сидел, но потом с большим увлечением уходил в русскую литературу. Он вообще был человек, который не терпит слова “должен”. Если он должен идти на службу, ему уже не очень хочется».

Тут вырисовывается еще один непростой сюжет — отношения Вахтина с матерью. Несколько сглаженно говорит по этому поводу Ирина Вахтина: «Ее влияние было сильным. Он ее очень любил и ценил, как литератора тоже. Иногда немного иронично относился к чему-то...»

И дальше практически неизбежные слова: «Конечно, был очень большой пресс над ним, ему было трудно не только как сыну из-под руки матери, которую он очень любил всю свою жизнь, но и из-за отношения окружающих, потому что все говорили: “Ну конечно, он тоже хочет писать, как мамочка”. Поэтому он никогда в своей жизни такими тропинками не пользовался, и она ни в чем не помогала ему, кроме, может быть, советов».

Здесь необходимо ради справедливости уточнить: не только советами ограничивалась помощь Пановой. И не только при жизни. Например, сценарий к известному фильму «На всю оставшуюся жизнь» по сюжету повести Пановой «Спутники» совместно с Петром Фоменко написал именно Вахтин. В любом случае «тень матери», безусловно, нависала над Вахтиным. О характере писательницы можно судить по высказыванию Валерия Попова, который говорит о ней как о «немного жесткой и даже высокомерной». Очередной стилистический срыв

Попова тем не менее дает представление о том, каким человеком была Вера Федоровна. Вряд ли дети Пановой были избавлены от давления и даже диктата своей непростой матери. Реакция на них предсказуема.

Желание пробиться в литературу самому — демонстрация отдельности и самодостаточности. Проблема Вахтина состояла в том, что его желание быть писателем носило головной характер. Он банально не мог найти, почувствовать героев своей прозы. Надеюсь, читатель не забыл о «Летчике Тютчеве...» — старике переплетчике, рядовом Тимохине. О том, как рождался текст, нам снова расскажет Ирина Вахтина: «А вот “Летчик Тютчев...” — это Школьная улица. Тогда она воспринималась как окраина, и место дуэли Пушкина там рядом. И там был вот этот внутренний двор, сейчас он немного другой. Школьная, 5. Окно одной комнаты выходило на Школьную, а окно кабинета (комната была солнечная, квадратная, с балконом, Борис очень любил ее) выходило во двор. Большой внутренний двор. Там была и котельная, которую он описал, и стол, на котором вечно “заколачивали” домино. Он не играл с ними, не сидел, но как-то хорошо увидел этих людей. Он всех их поселил в повесть. Мы даже не знали, кто живет на нашей лестнице».

Говоря чуть иначе, Вахтин писал, изучая жизнь народа с балкона своего кабинета. Отсюда и балконно-квадратный стиль письма, безжизненное умозрительное пространство его прозы. И в этом трудно винить — научная работа формирует особый тип человека. Скучные академические успехи только подстегивали стремление выйти на свет или, как вариант, создать собственную тень. Невозможность полноценно реа-

лизовать себя как писателя соблазняла Вахтина выступить негласным «крестным отцом» ленинградских писателей. Разумеется, при этом недовольство или даже гнев «дона Корлеоне» могли вызвать не только явные враги, но и оступившиеся друзья. Слова Довлатова из «Невидимой книги» воспринимаются теперь совсем иначе: «Излишняя театральность его манер порою вызывала насмешки. Однако же — насмешки тайные. Смеяться открыто не решались. Даже ядовитый Найман возражал Борису осторожно».

Свежеполученный писательский билет охладил пыл Ефимова как в продвижении сборника, так и в участии в каких-то акциях совместно с «творческими единомышленниками». В мемуарах об этом особо не говорится — запасная взлетная полоса не понадобилась, хотя какой-то мелкий профит зафиксирован: «После долгой борьбы сборник был отклонен, но в результате поднятого вокруг него шума — и как бы в противовес ему — ежегодный альманах “Молодой Ленинград — 1965” дал место на своих страницах всем четверым “горожанам”». Согласимся, мелкогато на фоне громких обещаний «пробиться к заросшему сердцу современника». В «Самиздате Ленинграда...» приведена следующая информация о публичной деятельности «Горожан»: «Группа провела несколько литературных чтений в ДК работников пищевой промышленности, в кафе “Молекула”, в районных библиотеках. В 1975 группа распалась в связи с арестом, а затем вынужденной эмиграцией В. Марамзина». Для десяти лет активность совсем несолидная, хотя духовное окормление работников ленинградской пищевой несомненно идет в плюс как пример синтеза материального с идеальным.

На Владимира Губина анабиоз «Горожан» оказал сильное негативное влияние. В его личном активе самым большим достижением значилась победа на конкурсе рассказов, организованном Всесоюзным радио в 1958 году. Невыход сборника он воспринял как безусловное поражение. Среди «Горожан» он был самым незаметным, видимо, осознавал, что его взяли для числа. Собственно, другом для соратников он и не являлся. И снова интервью жены Вахтина: «Они были очень дружны. Володя [Марамзин], пожалуй, чаще всех забегал... Они очень дружили. Володя необыкновенно тепло и хорошо относился к Борису. Игорь [Ефимов] немного меньше заходил к нам, хотя тоже бывал часто. Володя Губин, пожалуй, меньше всех, и как-то раньше всех и прочнее всех он исчез».

В силу темперамента Губин не мог компенсировать провал со сборником диссидентской активностью, как Марамзин, или негромкими, но зримыми профессиональными писательскими достижениями, подобно Ефимову. Он ушел в тень, продолжал писать. Некоторые его вещи по старой дружбе печатал Марамзин в своем эмигрантском журнале «Эхо», но и они не вызвали никого читательского эха, несмотря на похвалы главного редактора: «Сюжетная сторона не играет в его сочинениях существенной роли. Именно язык — его изобразительные и выразительные ресурсы — главное для Губина-художника». Подтверждая свои слова, Марамзин в 1984 году публикует повесть Губина «Илларион и Карлик»: «Среди суматохи насыщенного и напыщенного мордобоя Карлик умел упасть из окна непоруганным епископашкой».

Среди провокаций липовых истин и ложных или сверхложных идей.

Среди торжества дисциплины товарищей по топору.

Среди всенародного вопля товарищей в очередях у прилавка на торжище.

Среди помрачительной гонки наперегонки в обустройстве нашего быта, где, сколько туда ни тащи добра, сколько ни вкладывай по каталогу, сколько ни вкалывай, чтобы жильё наконец у тебя засверкало не хуже, чем у соседа, все тебе кажется мало стяжательства для перевеса тщеславных утопий».

Хорошо прочитанный и разбавленный Набоков не позволил создать сюжета, героев, банального смысла. Сам автор, пытаясь сбалансировать текст, достиг эфемерного совершенства, переписывал повесть много лет. Работа над ней растянулась с 1981 по 1996 год. Повесть превратилась в роман и была издана в 1997 году в издательстве «Камера хранения». Олег Юрьев — автор послесловия — с какой-то растерянностью пишет: «О чем эта повесть? О проверке русской речи на предел спрессования? Об испытании русской прозы на предел ритмизации? О контроле русской жизни на предел отчуждения?» Ответ подразумевается, подсказывается — решать должен читатель. Проблема в том, что читателя не нашлось. Ключ или шифр от «камеры хранения» увезли в другой город и забыли. Из Довлатова: «Губин рассказывает о себе:

— Да, я не появляюсь в издательствах. Это бесполезно. Но я пишу. Пишу ночами. И достигаю таких вершин, о которых не мечтал!..

Повторяю, я хотел бы этому верить. Но в сумеречные озарения поверить трудно. Ночь — опасное время. Во мраке так легко потерять ориентиры.

Судьба Губина — еще одно преступление наших литературных вохровцев».

Вот также и за этот эпизод Дар призывал «бить морду» Довлатову? К вопросу о «сумеречных озарениях» я вернусь совсем скоро. Губина можно было бы смело назвать главным литературным неудачником творческого содружества. Можно, если бы к четырем «горожанам» не присоединился пятый — Довлатов. Само участие Довлатова в группе вызывает множество вопросов. Ефимов в ряде интервью и текстов «освещает тему». Но от «раскрытия вопроса» самих вопросов меньше не становится. Фрагмент интервью Ефимова в 2003 году:

«— Вы могли бы назвать условную дату конца существования этой группы?»

— Я думаю, что Довлатов говорит об этом в одном из своих интервью. Вахтин пригласил его принять участие году в 68, самое позднее — в 69. Но уже следующий сборник мы не готовили. Не было сборника, в который Довлатов включал бы свои вещи.

— А почему был приглашен в группу Довлатов?»

— Он как-то виделся нам в нашем кругу. Тоже горожанин, пишет про город, тоже невероятно открыт иронии, всему смешному, тоже вглубь не печатается. Абсолютно тот же изгойский статус. Все сводило нас вместе. Он уехал в Таллин, по-моему, году в 70. Так что с датами вот так обстояло дело».

По поводу «вглубь не печататься», а также «изгойского статуса» — просто неправда. Напомню о двух детских книгах Марамзина. Абсолютно синхронно с ними, год в год, выходят две книги самого Ефимова: «Таврический сад» и «дополненное и исправленное» переиздание «Высоко на крыше». Помимо этого, в «Литературной России» в 1966 году печатается его рассказ «Заяц.

Сказка для взрослых». В 1968-м — большой рассказ «Телевизор задаром» в «Звезде». Что касается приглашения Довлатова в группу, то нельзя сказать, что отцы-основатели «Горожан» безоговорочно принимали его прозу. Из воспоминаний Дианы Виньковецкой: «О Довлатове я впервые услышала от Бориса Вахтина, который хотел привлечь Сергея в свою писательскую группу “Горожане”, хотя и критиковал его прозу за легковесность и “случаи из жизни”».

Видимо, наблюдение за своими персонажами с балкона Вахтин считал настоящим, основательным погружением в тему — в противоположность довлатовской «легковесности». Отмечу типичность претензии Вахтина: «легковесность» хорошо сочетается с «простоватостью», отмеченной Валерием Поповым.

Глава пятая

Литературная карьера Довлатова в те годы ограничивалась двумя прозаическими достижениями. В «Крокодиле» опубликовали два его текста: рассказ «Когда-то мы жили в горах» (1968) и миниатюру «Победители» (1969). Первый рассказ участвовал в международном юмористическом конкурсе «Улыбка-68». С целью подчеркнуть интернациональный характер «праздника смеха» рассказ сопровождала карикатура польского художника Юлиуша Пухальского. Никого отношения к тексту она не имела. Сам рассказ Довлатова — вариация «зова крови». В первый и последний раз в его творчестве возникает «армянская тема». Писатель на эту тему говорил немного, хотя и определенно. Вот часть интервью Довлатова, которое он дал

Виктору Ерофееву в конце восьмидесятих:

«—А вот сейчас, в связи с событиями в Армении, ваша армянская кровь как-то дает о себе знать?»

— Я знаю, что это кому-то кажется страшным позором, но у меня никогда не было ощущения, что я принадлежу к какой-то национальности. Я не говорю по-армянски. С другой стороны, по-еврейски я тоже не говорю, в еврейской среде не чувствую себя своим. И до последнего времени на беды армян смотрел как на беды в жизни любого другого народа — индийского, китайского... Но вот недавно на одной литературной конференции познакомился с Грантом Матевосяном. Он на меня совсем не похож — он настоящий армянин, с ума сходит от того, что делается у него на родине. Он такой застенчивый, искренний, добрый, абсолютно ангелоподобный человек, что, подружившись с ним, я стал смотреть как бы его глазами. Когда я читаю об армянских событиях, я представляю себе, что сейчас испытывает Матевосян. Вот так, через любовь к нему, у меня появились какие-то армянские чувства».

Более того, в частном письме к жене Наймана Эре Коробовой в начале 1974 года Довлатов пишет: «Но никто, никто не заставит меня думать... о том, как надо себя вести, или об армянских монастырях...»

Вернемся к двадцать шестому номеру журнала «Крокодил» за 1968 год. Начинается рассказ поэтически: «Когда-то мы жили в горах. Наши горы косматыми псами лежали у ног. Они стали ручными, таская на себе беспокойную кладь наших жилищ, наших войн, наших песен. Наши костры опалили им шерсть.

Когда-то мы жили в горах. Серебристые облака овечьих отар покрывали цветущие склоны. Ручьи, такие белые и чистые, как нож и ярость, жадно падали на гладкие камни. Солнце плавилось на наших спинах, а в теплых зарослях блуждали тени, подстерегая простодушных».

В эмиграции, в 1985 году, Довлатов участвует в странном издании — «сборнике на троих» — «Демарш энтузиастов». Помимо самого Довлатова в сборнике приняли участие Вагрич Бахчинян и Наум Саголовский. На его страницах писатель публикует рассказ в новой редакции. В нем появились микроэпизоды «политического» характера: «Дядя Хорен прожил трудную жизнь. До войны он где-то заведовал снабжением. Потом обнаружилась растрата — миллион.

Суд продолжался месяц.

— Вы приговорены, — торжественно огласил судья, — к исключительной мере наказания — расстрелу!

— Вай! — закричал дядя Хорен и упал на пол.

— Извините, — улыбнулся судья, — я пошутил. Десять суток условно...

Старая, дядя Хорен любил рассказывать, как он пострадал в тяжелые годы ежовщины».

И сегодня подобная шутка звучит достаточно двусмысленно. Также добавлена сцена, раскрывающая непростой характер межнационального общения. И снова неугомонный дядя Хорен: «Дядя Хорен поднял бокал. Все затихли.

— Я рад, что мы вместе, — сказал он, — это прекрасно! Армянам давно уже пора сплотиться. Конечно, все народы равны. И белые, и желтые, и краснокожие... И эти... Как их? Ну? Помесь белого с негром?»

— Мулы, мулы, — подсказал грамотей Ашот.

— Да, и мулы, — продолжал Хорен, — и мулы. И все-таки армяне — особый народ! Если мы сплотимся, все будут уважать нас, даже грузины. Так выпьем же за нашу родину! За наши горы!»

В крокодиловском варианте он также произносит «панармянский тост», но в сглаженном варианте: «Я рад, что мы все вместе... Нам, армянам, нужно держаться поближе друг к другу. Все народы равны в этом мире, но мы, армяне, особый народ, и, если мы будем держаться сообща, все будут уважать нас. Так выпьем же за нашу родину, за наши горы!»

Но намного интереснее увидеть редактуру текста как такового. Извини, читатель, придется вернуться на страницу назад. Вот новое начало рассказа: «Когда-то мы жили в горах. Эти горы косматыми псами лежали у ног. Эти горы давно уже стали ручными, таская беспокойную кладь наших жилищ, наших войн, наших песен. Наши костры опалили им шерсть.

Когда-то мы жили в горах. Тучи овец покрывали цветущие склоны. Ручьи, стремительные, пенистые, белые, как нож и ярость, — огибали тяжелые, мокрые валуны. Солнце плавилось на крепких армянских затылках. В кустах блуждали тени, пугая осторожных».

Текст подтянулся, стал строже, ветер времени рассеял «серебристые облака овечьих отар». Выразительные «крепкие армянские затылки» сменили нейтральные «наши спины». «Пугая осторожных» — «подстерегая простодушных», прибавляя драматизма. Но в любом случае рассказ сохранил свое настроение — несколько цветисто-культу-

рологическое, «со стороны», описание процесса «утраты корней». Успех от публикации был несколько подпорчен, как ни странно, армянскими читателями журнала «Крокодил». Валерий Попов не без удовольствия свидетельствует: «С рассказом этим сразу же случился скандал. В нем не увидели ни южной патетики, ни лиризма — ничего, кроме зубоскальства. Из Армении в редакцию журнала хлынул поток гневных писем от “трудовых коллективов”, общественных организаций и даже от чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна. Я сам видел письмо на бланке Академии наук Армянской ССР».

Биограф видит в рассказе Довлатова прежде всего холодный расчет: «Попытка прильнуть к армянским родственным истокам и на этом как-то выиграть (дружба народов все-таки!) обернулась провалом». В искусстве «прильнуть» Валерий Георгиевич мог сам многому нас научить. Не совсем понятно, как Довлатов мог просчитать подобный «отскок», неожиданный для симпатичного небольшого рассказа.

Попов не останавливается и идет дальше в выводах: «Довлатов делал себя с самого начала пути. Если не знаешь, что делать, — делай себя. Поднимай свое имя. Это он умел. Довлатов обладал врожденной способностью “заваривать кашу”, возбуждать жуткий скандал и оказываться в центре его. Способность для писателя весьма ценная... хотя и не самая главная».

Волна, поднятая шахматистами, представителями науки и просто «трудовыми коллективами», привела к следующей публикации Довлатова в «Крокодиле», которую нельзя назвать очередной или запланированной. В № 33 за тот же 1968 год автор вы-

ступил в непривычном для себя жанре «покаянного письма». Оно называется «О рассказе “Когда-то мы жили в горах”». Довлатов пытается объяснить, что «хотел сказать автор»: «Прежде всего хочу подчеркнуть, что в своем рассказе я попытался с иронией изобразить армян, давно живущих вдалеке от Армении, например в Ленинграде, потерявших связи с армянскими традициями. И сохранивших, культивирующих лишь чисто декоративные, экзотические, а в конечном счете ложные представления об обычаях своего народа».

Далее, следуя неписаным, но жестко соблюдаемым другим традициям, Довлатов перечисляет выдающихся армян, которые «внесли вклад»: от Мариэтты Шагинян до Виктора Амбарцумяна. Следующий шаг — признание отдельных недостатков: «К сожалению, в рассказе имеются досадные неточности, связанные с описанием быта, и я благодарен всем, кто мне указал на них».

Ну а дальше начинается то, что не предусматривалось стилем подобных писем. Автор критикуемого рассказа неожиданно переходит в наступление. Он уже не оправдывается, не объясняется, а обвиняет «трудовые коллективы» в незнании тех самых традиций и обычаев: «Хотя в отдельных случаях можно и возразить кое в чем читателям журнала».

Довлатов возражает сотрудникам Армянского НИИ экономики и организации сельского хозяйства и их поддерживающим редакторам издательства Академии наук Армении по поводу упоминания в рассказе папах, которые якобы отсутствуют среди традиционных армянских головных уборов. Писатель ссылается на симпатичную, гендерно прогрессивную армянскую

поговорку: «Вместо того чтобы бить жену, сними папаху, побей ее и снова надень». Также с помощью фольклора разбирается вопрос о плове. Заканчивается «покаянное письмо» неожиданно лихо: «А за внимание к моему скромному произведению и дружескую критику спасибо!»

К сожалению, Валерий Попов привычно обходит фактическую сторону дела, так как занят главным — показать моральную уязвимость своего персонажа, который оказывается не героем. «С одной стороны, Довлатов немного гордился этой вдруг сразу обрушившейся на него популярностью, хранил и невзначай показывал всем эти “знаки внимания”, с другой стороны, был напуган и даже ошеломлен».

Не знаю, какие бы письма в подобном случае писал Попов, а в тексте Довлатова не ни малейшего следа унижительного самооправдания и обещаний больше не повторять ошибок. Достойный ответ, учитывая возможные последствия для автора первого текста, опубликованного в центральном издании. Видимо, понимая, что извинениям за крамольный рассказ явно не хватает глубины раскаяния, после письма Довлатова слово берет редакция «Крокодила»: «Публикуя письмо С. Довлатова, автора рассказа “Когда-то мы жили в горах”, редакция журнала не может замалчивать и своей собственной вины. Поступившие критические отклики читателей свидетельствуют о том, что работники редакции, готовившие упомянутый рассказ к печати, отнеслись к оценке произведения поверхностно. Они не помогли молодому автору устранить из рассказа ряд мест, легкомысленно и неверно трактующих народные обычаи и традиции. А это и

вызвало справедливую читательскую критику».

Но в любом случае письма «трудовых коллективов» не превратились в шлагбаум на пути Довлатова в тот же «Крокодил». Через три месяца во втором номере за 1969 год его напечатали во второй раз. На обложке журнала два волка и козлик распивают бутылку. Серенький козлик обращается к плотоядно ощерившимся приятелям: «Братцы волки, взяли-то на троих, а чем будем закусывать?» Хорошая картинка. Со смыслом. Под обложкой рассказ Довлатова «Победители». Он не самый известный у писателя, хотя заслуживает внимания. По объему он меньше «Когда-то мы жили в горах», занимает всего треть страницы. «Победители» — грустный рассказ об утраченных иллюзиях, утрате «спортивного интереса» к жизни. В борцовском зале проходит очередное соревнование. Судья-информатор представляет соперников:

«— В синем углу — Аркадий Дысин, в красном углу — Николай Гарбузенко».

После объявления борцы «начинают возиться». Подобная вялость объясняется автором биографией «победителей»: «Оба они весили больше ста килограммов, обоим было за тридцать, оба ходили с трудом, а борьбу уже давно считали ненужной мукой. Но каждый раз тренеры уговаривали их поддерживать команду». «Накал борьбы» опускается до нулевой отметки, когда выясняется, что главный судья Лев Елифанов уснул, не выдержав напряженности поединка. «Соперники» застыли — внешний стимул продолжать противоборство ушел. Пробудившись, судья решает судьбу жребием — подбрасывает монету. Уже втроем они покидают спортивный зал: «Через минуту

из-за угла, покачиваясь, выехал трамвай. Друзья поднялись в вагон. Трое юношей, по виду студенты, уступили им место». Понятно, что «победители» давно уступили свои места в спорте, ни на что не претендуют, «соревнуясь» по инерции. Их отношение к «празднику спорта» простое: «Борьбу они ненавидели, а зрителей презирали». Ненавидели за то, что «не выбились в чемпионы», довольствуясь ролью статистов, фамилии которых навсегда пропечатаны в конце турнирной таблицы. Довлатов говорит об имитации как саморазрушении, о необходимости «ухода из спорта» в свой нужный и важный момент. Конечно, есть соблазн «углубленно» прочитать «Победителей», переброшить мостик к вечной теме «писатель и литература». Должен ли автор, блюдя «спортивную форму», «накачивать руку» в надежде на внезапное сотворение шедевра — «чемпионство», или лучше «уйти из спорта», занявшись чем-то иным? На мой взгляд, этот небольшой рассказ Довлатова не потерял в силе за пятьдесят лет. И сейчас он читается свежо. Если сравнивать его с текстами, вошедшими в состав «Горожан», прекрасно видно, насколько те — попросту ветхие примеры кокетливых словесных упражнений. К сожалению Довлатова, Федерация вольной борьбы просмотрела рассказ «Победители», в отличие от чемпиона мира по шахматам Тиграна Вартановича Петросяна.

Наряду с первым своим рассказом Довлатов также включает «Победителей» в состав «Демарша энтузиастов». Для нового издания он перерабатывает и расширяет рассказ. Получает новое имя и национальность главный судья соревнований — Жульверн Хачатурян. Помимо имени он одаривается вставным эпизодом: «Год назад Хачатурян

поступал в университет. Он был самым широкоплечим из абитуриентов.

Шел экзамен по русской литературе. Хачатурян всех спрашивал:

— Прости, что за вопрос тебе достался?

— Пушкин, — говорил один.

— Мне повезло, — восклицал Хачатурян, — именно этого я не учил!

— Лермонтов, — говорил второй.

— Повезло, — восклицал Хачатурян, — именно этого я не учил!

Наконец подошла его собственная очередь. Судья вытащил билет. Там было написано: “Гоголь”.

— Вай! — закричал Хачатурян. — Какая неудача! Ведь именно этого я как раз не учил!..»

Перерабатывается диалог между борцами. Если в первом варианте они рассуждают об уходе из спорта и обсуждают прелести дивана-кровати и поэзии, то в «Демарше...», помимо нового варианта диалога с медицинским уклоном, возникают иностранные журналисты:

«— Если бы ты знал, как я ненавижу спорт, — произнес Аркадий Дысин, — гипертония у меня.

— И у меня, — сказал Гарбузенко.

— Тоже гипертония?

— Нет, тоже радикулит. Плюс бессонница. Вечером ляжешь, утром проснешься, и затем — целый день без сна. То одно, то другое...

— Пора завязывать, старик!

— Давно пора...

— Прости, кто выиграл? — заинтересовался очнувшийся Жюльверн Хачатурян.

— Какая разница, — ответил Гарбузенко.

Потом он сел на ковер и закурил.

— То есть как? — забеспокоился Хачатурян. — Ведь иностранцы наблюдают! “Расцветали яблони и груши...” — нежно пропел он в сторону западных корреспондентов.

— “Поплыли туманы над рекой”, — живо откликнулись корреспонденты Гарри Зонт и Билли Ард».

На мой взгляд, редакция не пошла на пользу «Победителям». Ушли изящество и точность журнального варианта. Дополнительные эпизоды и вставки утяжелили текст, размыли его философский посыл.

В любом случае обе публикации в «Крокодиле» как во всесоюзном издании можно трактовать как скромное, хотя достойное обещание писательской будущности. Они тем важны для Довлатова, что у себя в Ленинграде он так и не сумел добиться прогресса, перейти на новую ступень. Вспомним его «успехи» в журнале «Звезда» — рецензии на сборник Феликса Кривина и на мемуары старого большевика Николая Евгеньевича Буренина. Сотрудничество с журналом не прекратилось, хотя трудно говорить о поднятии планки.



АВТОРЫ НОМЕРА

Горак Валентина Григорьевна родилась в Кемеровской области, окончила Новосибирский институт инженеров водного транспорта, работала в Восточной Сибири. Автор нескольких поэтических и прозаических книг, в том числе для детей. Публиковалась в журналах и альманахах «Русский писатель», «Золотое слово», «Сибирский Парнас» и др. Живет в р. п. Кольцово.

Малофеева Екатерина Сергеевна родилась в 1986 г. в Чите. Работает переводчиком. Публиковалась в журналах «Огни Кузбасса», «День и ночь», «Байкал», «Сибирские огни» и др. Лауреат Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке. Живет в Чите и Улан-Удэ.

Николов Дмитрий родился в 1989 г. под Харьковом. Окончил Харьковский национальный университет им. Карамзина по специальности «историк-археолог». Работал менеджером, закройщиком, фрилансером. Прозаик, поэт. Публиковался в журналах и альманахах «Мир фантастики», «Мю Цефея» и др. Живет в Харькове.

Попов Денис Николаевич родился в 1979 г. в с. Усть-Цильма Республики Коми. Проходил службу в пограничных войсках в г. Воркуте. Окончил курсы водителей и курсы охранников. Работает вахтовым методом в агентстве «ЛУКОМ-А-Север», охранником на объектах «Лукойл». Публиковался в журналах «Север», «Начало века», «Радуга». Автор сборника стихов «Лиственничное небо». Живет в с. Усть-Цильма.

Самойленко Сергей Витальевич родился в 1960 г. в Макеевке Донецкой области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Театральный критик, поэт, переводчик. Работал дворником, сторожем, грузчиком, журналистом, редактором от-

делов культуры нескольких газет, главным редактором интернет-журнала «Сиб.фм», координатором Сибирского центра современного искусства. Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Юность», «Волга», «Номо Legens» и др. Автор четырех книг поэзии. Стихи переведены на английский и испанский языки. Живет в Новосибирске.

Стекачѳв Михаил Юрьевич родился в 1979 г. в Брянске. Окончил Брянскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «ученый-агроном». Работал внештатным корреспондентом в областных газетах и электронных изданиях, инженером-программистом в государственных и коммерческих организациях. Сейчас самозанятый. Это первая художественная публикация автора. Живет в Брянске.

Теминский Сергей Павлович родился в 1970 г. в Иркутской области. После окончания средней школы объездил почти всю страну, испробовал много профессий: от матроса на научном судне до повара в ресторане. Сейчас работает в психиатрической лечебнице санитаром. В свободное время пишет стихи и прозу. Печатался в журналах «Литературная учеба» и «Эдита» (Германия). Живет в Иркутске.

Хлебников Михаил Владимирович родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» и «Теория заговора. Историко-философский очерк». Публиковался в газете «Литературная Россия», в журналах «Подъем», «Полдень», «Бельские просторы», «Наш современник», «Москва», «Вопросы литературы», «Новый мир». Живет в Новосибирске.

СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 12.03.2021. Дата выхода № 4 за 2021 г. в свет 18.04.2021.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.